

Николай Князев

Неудаленные сообщения

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Николай Петрович Князев

Неудаленные сообщения

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66146638

SelfPub; 2021

Аннотация

В центре романа неизбежные и неразрешимые противоречия отца и сына. Leitмотивом повествования стали не удалённые смс, найденные героем в старом кнопочном телефоне.

Содержит нецензурную брань.

Николай Князев

Неудаленные сообщения

Посвящается С.А. Жданку

*Тонкий месяц, снег идет
Купола с крестами
Так и кажется вот-вот
Понесутся сани.*

*Ждешь и веришь в волшебство,
Кажется все новым.
Так бывает в Рождество.*

*С Рождеством Христовым!
Отправитель Борис Келдышев*

дальше номер телефона и заканчивается – получено 07.01.

2009.

Листаю дальше, от него же:

*Под шубою селедочка
И тазик оливье
Ведерко сладкой водочки
Желаю я тебе!*

*Блестят на елке шарики,
Как Фаберже яйцо*

*С экрана улыбается
Медведева лицо.
Куранты лупят бешено,
Подбило пробкой глаз
Открыл в лицо шампанское...*

Какое-то бесконечное послание. Поздравил с 2010 –м. Да. Сохранилось.

Сын в третий раз разбил свой мобильник. Говорит, забыл вытащить из кармана, когда во дворе колледжа гоняли мяч. «Виноват, извини». В прошлый раз дверь автобусная хлопнула, когда заскакивал – прищемило, раздавило. В позапрошлый девушка стала причиной. Получается – всё обстоятельства и злые люди.

Третий телефон за год. Как вам?

– На, держи! – я вручил ему старенький кнопочный Nokia. Мне жена подарила новый, а этот пылился без дела. Стодилсья. Умещается на ладони, не лишенный изящества, шедевр, можно сказать, телефонного дизайна. Но в прошлой пятилетке. Пожалуй, даже так – шедевр десятилетия – черный корпус, ничего лишнего, ничто не отвлекает, хромированная окантовка в виде ленты Мёбиуса, красиво.

У сына кислое лицо, но телефон взял. Этот будет сложно разбить. И потом, кнопочный – только звонилка, только телефон. Прежде чем обрести нового хозяина, он, выдавший виды, Nokia вернул мне всё, что хранил в памяти о прошлой

жизни.

У Бори Келдышева день рождения 11 сентября, легко запомнить – рухнули башни в Америке, ему в тот день сорок стукнуло. Но я и до обрушений помнил, не забывал, поздравлял всегда. Однако, мои СМС не сохранились, не остались в памяти мои поздравления, остались только те, что приходили, а что уходили, уходили бесследно. Может, у Бори и остались?

Остались бы.

Бори нет. Он погиб.

Однажды он меня побил. Ударил два раза, или один. Один-то точно. Сильный удар, в челюсть. Где научился? Может, с детства умел, а может в Афганистане; почти два года воевал, вот вернулся немного контуженный (может и родился таким), но живой и сильный, а погиб здесь. Давно уже.

Выпивали мы с ним знатно. Расставались, например, за полночь, а утром он звонит из какого-нибудь пригорода: я, говорит, в ментовке, приезжай объясни, кого они взяли. Келдышева! Подтверди. Я начинаю подниматься, сую голову под кран с водой, за окном светает, птички – воробышки чирикают, но автобусы пока не ходят, да и, как правило, не было нужды в автобусах. Шутил Боря. Ни в какой он не в ментовке, шутил, ну и проверял, пожалуй, можно ли взять меня в горы. В горы и с автоматом. За многие годы знакомства не припомню, чтоб он о войне распространялся как-то пафосно, да и вообще никак. Ни пафосно, ни безпафосно.

Я то, что ж? Любопытно. Люди-человеки. Как там, у Горького: «Клим все чаще стал примечать, что живет в нем кто-то, гораздо глупее его». Ну и я, особенно, когда в подпитии – «Боря, Боря, скажи, Боря, ты ж стрелял! Убивал?»

Ответил однажды, как бы себе и будто протрезвел враз:

– Да нет, – говорит, – не видел, чтоб в кого-то там конкретно моя пуля попадала. Нет. Ну а, – помолчал, потом быстро-быстро, наскაკивая словом на слово, – в кишлак заходим, после допустим, как выбили душманов, первое – зачистки. А как? Не зачистишь, получишь в затылок. Обязательно. Дуван, кишлак, домики, пробираешься тихо-тихо; ступаешь, горло першит от жара в животе, потом, в окошко или – дверь ногой и пару гранат туда. Заскакиваешь – а там никаких духов, декхане, руки – не забыть – темные в мозолях, узкие и жилистые. И гул от взрывов не стих, эхом под потолком.

Как из него вырвалось? О контузии ни слова, сколько не пытался я подкатить, выведать. А тут вырвалось.

В ту ночь я провожал его после солидных возлияний и задушевной беседы, и тут у самого метро тычка в лоб. Вот именно. А я не ответил. На меня это совсем не похоже. Я опустил голову.

Пока он там воевал, я книжки читал. Много-много книжек. Важно, конечно, не сколько прочел, а сколько догнал, просек, то есть, в смысле – смысл уловил. Мне тогда казалось, что и сам Джойс мне не брат. Да!

Или брат?

Превосходство здесь он чувствовал остро.

В компании, однако, в центре всегда тот, кто с гитарой. Боря! Боря! Боря! Еще бы – перебирает струны; перебирает, перебирает, прислушивается к шорохам в дальних углах, не спешит, не торопится – саспенс. Наконец, подаст голос, сочный, прожаренный пустыней, напитанный восхищением и восторгами, чуть-чуть и истерика, но истерики нет и уже никаких шорохов, ни в каких углах.

Или стихи, по два часа, потоком, Пушкин, Шекспир и искренность какая-то бешеная и обезоруживающая, дарил себя безудержно и не скупясь, подливай только. Привычная лихорадка. Я, говорит, с пяти лет на сцене, даже раньше. Овации, «браво Келдышев, браво, браво!» Большой артист.

Занялся потом рекламой. Купил новую машину, сам уже мог подливать – не жалко. Но беспокойство не оставляло и прорывалось.

Тут снял серию роликов. Духи. Часы. Духи, ударение на первом слоге, в смысле – парфюм, не духи, которых не видно. Вот так – духи, часы, народный артист в кадре, умные глаза.

– Видел, кто у меня снялся? – спрашивает

– Борь, ты думаешь, я рекламу смотрю?

– Мог бы посмотреть... друг. Ты друг?

– Ладно тебе, Боря.

– Нет, не ладно. У меня диск с собой.

Зашли ко мне, смотрели ролики. Смотрели, выпивали,

еще выпивали.

– Боря, ну реклама и реклама. «Творцы зачем? Творцы на хер! Криэйтором, пойдешь, криэйтором».

– Такой не было. Никогда. Че молчишь? Я все сам придумал. А звук? Ты... Нет, ты послушай.

Он опять ставил диск, – слушай звук. Закрой глаза, теперь открой, видишь, поворот головы, сейчас вступят струнные, а? Глаза! Ветер! Это тебе какой ветер? А? Ветер Келдышева. По ветру Келдышева запах угадывается. Так-то. Не было такого!

– Ну да, Боря, хорошо. Запахи, звуки. Чего ты хочешь? Зарабатываешь прилично. «Хонду» новую купил. Для денег же – и запахи, и звуки, наливай.

Он налил и замолчал.

Случился тормозок. Не идет разговор, спотыкается, падает, и встать никак. Чтоб выйти из пике, звоню Кудре. Друг его институтский, успешный вполне артист Федор Кудряшенков. Но его нет, ни в городе, ни в стране, снимается в Боготе, у Соловьева.

Боря стал нервничать, порывался уйти, но не уходил. Выпивали. Борю осенило – звонит народному артисту, тот снимает трубку, и они довольно долго говорят о восходящей звезде Кудри, о предстоящей премьере у народного артиста, о пластике и рекламе, о языке кино и сути театра, наконец, народный признает уникальность таланта рекламщика Келдышева... однако приезжать на праздник духов и часов от-

казывается.

– Машину подгоню, Игорь Брониславович. Уже завожу.

Но тот и от машины отказался. У великих артистов великие дела.

– В рекламе никогда не снимался. У меня снялся.

– Ну да. Сколько?

– Не понял.

– Месячную зарплату за пару часов?

– Я неделю снимал. Что ты понимаешь! Смотри, можно такое за два часа снять?

Он вставил диск, потянулся за пультом, но не стал включать, вдруг усмехнулся.

– Сейчас, *она* тебе скажет. Скажет. Бике, она с востока, потомок Магомета, а Магомет «больше всего на земле любил ароматы и женщин».

– Ароматы! – Боря звонил Бике, подружке с недавнего времени.

Там не отвечали.

Я налил. Он продолжал звонить. Я выпил. Боря звонил.

– Магомет больше всего на земле любил женщин и ароматы, – я закусывал, хрустел капустой, – но, – я дожеввал капусту, – но истинное наслаждение находил только в молитве.

Боря не посмотрел на меня, выдохнул, опрокинул рюмку, достал из компьютера диск с роликами, стал искать ключи от своей «Хонды».

– Погоди. Какие ключи? Борис! Боря. Остынь. А-а, вот

они, – ключи его почему-то оказались у меня в кармане.

Борис взял ключи, засопел, уставился в пол, помолчал, потом:

– Ты к чему это – «ис-тин-ное наслаждение»?

– Так, вспомнил, просто. Боря, Боря, постой! – Боря разворачивался к двери, – ты посмотри, – я кивнул на стол, – вторую допиваем. Постоит твоя «Хонда», никуда не денется, гляди сюда, – подтащил его к окну, – во – видно твою «Хонду». Из моего окна видно твою «Хонду», Боря, ну Боря. Сторожить буду. Я сторож другу моему.

Он скосил губы в подобие улыбки. Ладно.

Подходили к метро. Тут недалеко. Поравнялись с крылечком – высокие ступеньки, хромированные перила, над козырьком по одной через паузу вспыхивали буквы «Б» «А» «Р».

– Давай по стопке.

Борис дернул плечом и, привычно, в предчувствии согласия и радости, повел головой в сторону и вверх.

По стопке, так по стопке. Боря – подарок, и сам ты рядом подарком становишься, самому себе уж по крайней мере, все легко и чисто, и на подъеме, только народился и будто не приходилось вовсе ни кривляться, ни врать, ни бегать от судьбы. Сама судьба – восторг, вот он, Келдыш. Да и рано совсем, только темнеть начало.

В зале никого, у стойки дама в высокой оранжевой шляпке без полей и с сильно перетянутой талией. Бросила в сумочку

сдачу, поднесла бокал ко рту.

Да, а когда мы поднимались по ступенькам крыльца, нас яростно обляял рыжий песик на поводке, прицепленном к перилам.

Дама оставила на стойке пустой бокал и, скользнув взглядом где-то поверх наших голов, вышла из бара.

Собака ошалело бросилась навстречу, вскочила на задние лапы, стала тыкать носом в плечи и грудь хозяйки, та пытается отвязать ремешок, склонила голову, и собака, подсакивая, испуленно лизнула шею, потом лицо, и раз, и два, и три.

Показалось, дама взвизгнула. Нет, нет, это ее восторженное – Нэмми, Нэмми – было сродни восторгам питомца. Звук сливались! Где дама, где собака? Наконец, ремешок отвязан, и дама, выпрямившись, поворачивает голову в нашу сторону. Нет, это не демонстрация, нет, нет, лицо ее сияет; она готова даже поделиться своим сиянием, готова победить любое уныние. Стоит, застыв, и смотрит; а собака не унимается, скачет, подпрыгивает, визжит.

Непреходящая радость. Она заразительна, радость, когда настоящая. Я не мог оторвать глаз.

Нам налили. Боря поднял стопку, взглянул на крыльцо, на даму с собакой, там радость все-таки пошла на спад.

– Ну, давай, – выпил. – Как там, кто это задвинул? – из невозможности любить людей, любим собак. Кто сказал?

– Мизантроп какой-то.

Выпили еще и Боря сам вспомнил. Шопенгауэр. Артур.

– Когда родился, Шопенгауэр, книжник? – последнее слово «книжник» вышло язвительно.

– Да какая разница, Борь?

– Нет, ну все-таки?

– Думаю, где-то с Пушкиным рядом.

– Шас, важно. Важно! – он достал мобильник, позвонил Кудре, – Федор, когда Шопенгауэр родился, какого числа? Погоди, погоди. Федя.

Там, видимо, отключились.

Боря вздохнул:

– Дал понять, что он далеко. Напомнил, что в Боготе. Снимается. Кудря снимается в Боготе. Не пьет. Давно не пьет. Молодец. Мы, когда поступали с ним, на втором туре показывали отрывок из Гоголя «Как поссорился Иван Иванович и Иван Никифорович», комиссия зашлась от хохота, из коридора абитуриенты двери приоткрыли чуть-чуть сначала, потом весь этаж на уши встал. Двери распахнуты и веселуха в одном порыве. А ты говоришь! А сейчас он в Баготе. Вот так. И где эта Багота? Ладно. Все – таки, какого числа родился Артур Шопенгауэр?

Боря набрал Бике, в этот раз сразу ответила. Быстро нашла Шопенгауэра в Википедии:

– Родился 22 февраля 1788 года в Гданьске, Польша, умер 21 сентября 1860 года во Франкфурте. Оказал значительное влияние на Зигмунда Фрейда, Альберта Энштейна, Юнга, Адлера, Шредингера...

– Понял, спасибо. Спасибо. Я скоро, ты жди.

Борис загрустил, а когда он грустил, он засыпал. В один миг – с зажатым в руке телефоном и с не поникшей головой. Со стороны могло показаться, что задумался человек, прикрыв глаза. Ушел в себя. Но Боря ушел в сон. Или сон его настиг и захватил. Так или иначе, по опыту, я знал, встреча их будет недолгой. Так и случилось, пару минут и Боря, опустив руку с телефоном, встал из-за стойки.

Скоро мы приближались к метро.

Борис остановился, закурил.

– Он умер не 21 сентября, там ошибочка.

– Кто?

– Шопенгауэр. Умер 11 сентября 1860 года. Когда он умирал, ровно через сто лет я родился.

У Бори пунктик с числами. Обычно я не развиваю тему, но в тот раз пошло по-другому. Как-то у него получалось, что в момент смерти Шопенгауэра на свет появился он – Боря. По ходу разговора сто лет вылетели, испарились куда-то. Куда?

Потом завел о сыне. О своем сыне. Он у него родился 11 ноября, в один день с Достоевским. Когда узнал, долго ходил, что-то высчитывал. Наверное, так и не высчитал. Давно, в юности он играл моно- спектакль по Достоевскому – «Сон смешного человека». Был шумный успех, пресса, телевидение, гастроли, цветы, девушки, девушки, девушки. И надо ж, одна из них догадалась родить ему сына, и именно 11 нояб-

ря, собственно Достоевский причина.

– Ладно, Боря. Не напирай. Я что? Я против?

– Ты против.

– Против чего, Боря?

– Всего. Ты, – он достал вторую сигарету, – не видишь связей. Чтоб что-то делать, надо видеть. А у тебя словоблудие одно, хаос. Хаос, да? Козыряешь невразумительным. Хаос, кто не видит. Ты не видишь. Понял? А то ему запахи и звуки! Видеть надо. Не умеешь, учишь. Понял?!

– Да, да, понял.

Случается, вроде и не задет, но холодный азарт, или точнее, расчетливое желание остудить собеседника подсказывает направление, единственно верное, как тебе кажется, в этом случае, направление в сторону неожиданной темы.

– Что-то вижу. В нашем городе тучи красавиц. Полки, дивизионы, тьмы, легионы красавиц, притом, не увидишь бесформенных. Заботятся. А как же, фитнес, бег на месте, бег по кругу, приседания с гириями, тучи красавиц, и не похожа одна на другую, вес, рост, талия, все единственное и неповторимое. Но ни одной не видел, чтоб зад не подчеркнут. Ты видел?

Боря не ответил.

– Я не видел. Знаешь, форма зада диктует линии лица. По заду легко можно догадаться насколько привлекательно лицо? Ты можешь, Боря?

И тут я получил в челюсть.

Я опустил голову и не ответил.

И получил некую власть над Борей. Теперь, в тупиковой ситуации, когда возразить мне нечего, могу заявить – а ты меня бил. Можно было довести его бешенства. Только никогда я не хотел злить его. Никогда.

Я тоскую. Скучаю. И уныние накрывает с головой. Нет его. Скользящий покатым пол, не обрести и секунды устойчивости, не найти радости от самого себя, не забыться в идущей от него на километры эйфории, в эйфории жадного и ненасытного желания жизни.

Вскоре он погиб. Что-то я успел увидеть. Но не два взрыва подряд.

Накануне получил СМС:

Скатерть белая!

Свеча!

Аромат от кулича!

Льется в рюмочку кагор,

Пить не много – уговор.

Разноцветие яиц

И улыбки светлых лиц!

С праздником!

Христос воскрес!

Доброты! Любви! Чудес!

Отправитель Боря Келдышев

Когда сыну старенькую NOKIA вручал, попросил все неудалённые СМС на флэшку сбросить, он сбросил. А мог бы и забыть, не забыл, спасибо. Сын Гера, Георгий, Жора – балбес. Можно вспомнить, «по плодам их узнаете их». Да. Был бы Боря, я был бы другой, лучше, и смоквы были бы не кислы, и Гера не балбес.

Или не были бы не кислы.

Боря стоял под буквой «М». Буква ярко-красная и подмигивает, это какая-то лампа внутри хочет перегореть. Он не уходил, заехал в челюсть и стоял, чего-то ждал. Чего? Реакции? Я же смотрел, как шаркают подошвами об асфальт прохожие: шнурки развязались, болтаются и мокрые – в лужу попали; каблук подломился, но нет, устоял, не сломался, кроссовки с подсветкой – на пятках полоски вспыхивают.

Постояли так, потом Боря засопел, набылчился и направился вниз по ступенькам. Когда придерживался за перила и никого на пути – замечательно, но когда приходилось пережидать, пока идущие вверх обойдут его, тут очевидно – Боря не тверд на ногах.

Я решил проследить, пока он не сядет в вагон.

Он не сел, и до вагона не дошел.

Задержался у турникета. «Идите наверх, там троллейбус, автобус, а здесь поезда, пьяных не пускаем». «Кто пьяный? Это ты про кого?» Ну и в том духе.

Я подбежал, ухватил Борю за локоть. Он не стал упираться и мы вновь оказались за барной стойкой.

– Боря, Бике, девушка эта, знает, что твой сын Достоевский?

– Не начинай. Достоевский – я, сын только родился с ним в один день, тут связь тонкая, постигаемая с трудом. Не всегда и не всеми.

– Понятно. Так она знает?

– Что?

– Ну-у-у...

– Что знает? Ты уже спрашивал.

– А ты не ответил. Кто она?

– Она княгиня.

– Из Грузии? Там все князья.

– Не из Грузии. Бике – значит князева дочь, дочь князя. Только отец ее погиб, конные экскурсии проводил в Домбае, трос не мосту лопнул, спасал туристов, погиб. Так она рассказывает, погиб как герой, а она дочь князя – героя. Сейчас в семье дяди живет. Здесь.

– М-м. Бике! Горянка?

– А что?

– Так. Как ей здесь?

– Отлично. На «Скорой» работает. Медсестра.

– Откачивала тебя? А Борь? Представляю, мчитесь в скорой, она тебе капельницу ставит, а ты ее за коленку. А?

– Примерно так и было. Завидуешь?

– Может быть. И что дальше? Как ты... Как ты с ней?..

Боря молчит, отключился. Заснул. Картинно, с прямой

спиной, с приподнятым подбородком.

Я позвонил Зое, своей жене, она сказала, – хорошо, – и отвезла Боря домой, к его жене и его сыну.

Боря очень хорошо водил машину, прошлый свой старенький «Фольксваген» всегда чинил сам, водил виртуозно, никогда и никуда не опаздывал, ни при каких пробках, при этом не припомню, чтоб он жаловался на штрафы, на ГАИ, в общем, родился с баранкой в руках. Поэтому в роли пассажира чувствовал себя ущемленным, осознавал, что всё пузыри – ущемлённость эта, подтрунивал над собой, однако чувство превосходства, как водителя, накатывало помимо воли.

– Зоя, желтый! Успеешь! Дави гашетку, Зоя, Зоя, Зоя, – не мог удержаться Боря.

И, не остывая, но желая уйти от пафоса, в ужасе кричал:

– Зоя, мост! – въезжали на мост.

Мост. И что мост! По прямой же мост. Ай, Боря, Боря! Зоя смеялась. Смеялись вместе. Борю любили все. Не все понимали, что любят, может, от зависти не понимали.

Вот его последняя СМСка.

Больше не было.

Живешь в грехе,

Погибелью живешь ты.

И правит жизнью

Грех твой, а не ты

Небо – спасение твое

Ты сам – беда твоя.

Религиозным Боря не был. Боялся быть не искренним. Крест носил, а когда говорили, «Борь, ты ж еврей», он спокойно – «нет, – отвечал, – я русский и крещеный». В нем виделся кавказец, скорее закавказец, что-то азербайджанское.

Бывало, заводился:

– Откуда ты знаешь, веришь ты или не веришь?

Я пытался не вступать в такие дискуссии. Он дергал меня за руку, судорожно выворачивая шею и дергая подбородком.

– Ну? Знаешь точно?

Иногда я вяло отбивался:

– Причем тут знаешь или не знаешь? Начнешь копать, такое выкопаешь, чего и не было, а пока рыл, оно, вот тебе – и народилось. Искренность, когда зацикливаешься, она чревата; начинается – а что там еще, какой ужас еще ношу, его может, и нет – ужаса, но тут фантазии являются, да еще болезненные. Умей прощать себя, Боря, если на то пошло, то есть, если есть чего прощать.

На последнее сообщение я не ответил. Не успел, что ли. Сразу не ответил, а потом уже и не кому отвечать.

Что бы я сказал ему?

Сказал бы, «Боря, я – беда. Ты – нет. Ты – и радость, и восторг. Сам знаешь».

А беда – да. Можно, как Триер в «Доме, который построил Джек» – направиться в сторону открытий глубинных мерзо-

стей своих. Кому-то, такая пилюля возможно и поможет. Но сомневаюсь, и она ж не натуральная, пилюля, она из колбы триеровой башки.

– Но, однако, какая пилюля! – сказал бы Боря.

Но только «Дом...», что построил Триер вместе с Джеком, он его построил, когда Боря давно уже лежал в могиле.

«И косточки давно истлели», – так говорила моя мама, про тех, кто пролежал в земле восемь лет и более.

Почему так говорила? Имела в виду что? Что всё забылось и у того, кто в земле и у тех, кто о нем думал. Тут вот, пока пишу, сообщили в новостях, где-то в Якутии, где вечная мерзлота, вчера археологи откопали собачью голову. Целиком, даже мягкие ткани сохранились, не то что косточки. И голове той более сорока тысяч лет. 40 000.

А мама говорит, «и косточки истлели».

Говорила.

А Бике здравствует. Она чуть подтаскивает левую ногу, косолапит. И раньше замечал. Впервые увидел ее со своим дядей, Боря куда-то подвозил их. А тут, в центре столкнулись. Красива вызывающе, ничто ее не берет. Глаза в глаза. Многомиллионный город, а встречи случаются и даже не редко. Случай – подсказка Бога. Не понятно только что Он хотел подсказать. Она остановилась и улыбнулась. Нагло так. Еще чуть и расхохочется.

Я тоже остановился. Оробел.

– Ты вышла? Или сбежала?

Она не сдержалась, захохотала.

– Сбежала. С пузом. Кавказ своих не бросит. Родила уже тут, как бы, на свободе. А ты хромаешь? Ножку поранил? Ай-йяй. Как жаль.

И пошла.

Чего ей стало жаль? Сожалеет, что я живой остался.

Я догнал ее, схватил за руку.

Она стремительно развернулась:

– Ты думаешь, жизнь наладилась? Ну да, я любила Боря вашего. А кто его не любил?

Один глаз у нее затуманился, сейчас слеза выкатится. И выкатилась, только из другого глаза, что был чист и смотрел поверх меня.

Приблизила лицо, и шепотом:

– Так вам понятней. И больней. А вообще мне нет разницы, кого из вас отправлять в ад. Больше – лучше.

– Так, да?

– Так.

– Боря-то, пожалуй, что и из ваших был.

– Тем более, тогда! Служил русским как пес. У меня два брата было, отец. Все... не с миром отошли. Интернациональный долг. Мне твой сынок рассказывал, как он дома наших гранатами забрасывал. Сам – то Боря мне только песенки пел, «зацелую допьяна, изомну как цвет».

Она выдернула руку. Я все еще удерживал ее. Передернула плечом, свела судорогой подбородок, напоминая и пере-

дразнивая Борю, и запела в голос на весь проспект. Надо сказать, мало кто даже и взглянул в ее сторону. Всем все равно, а потом, мало ли придурочных в огромном городе. Знали бы, кто она такая, Бике. А она, слегка косолапя, неспешно удалялась:

– Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.
Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай меня подружка,
На земле живут лишь раз!

Бике отсидела три года. Вот выпустили. Хотя по всему, надеяться на освобождение в принципе никто не мог, может быть, только сама Бике не унывала, «для Кавказа невозможного мало».

Рвануло у третьей колоны на станции с переходом на другую линию.

Мы договорились встретиться на выходе из предпоследнего вагона, она обещала нас ждать у третьей колоны. Ее дядя после реконструкции открывал ресторан на проспекте. Бике любила тусовки, по ее словам, на открытие были при-

глашены артисты, юристы, депутат, Юрий Антонов, и даже Кашпировский. Собственно, она приглашала Борю, но так совпало, именно в этот день прилетел из Баготы Кудря, мы пересеклись, выпивали немножко, Кудря рассказывал о Колумбии, о работе. Пересыпал речь испанскими оборотами, утверждал, что испанский ему как родной, «когда влюблен, язык любимой проникает в тебя сквозь поры в коже».

– Ты влюблен?

– Я испанец.

– О!

– О!

– Что «о»? О! О! Пепита до меня не знала и не понимала что такое мужчина.

– Пепита?

– Ура Пепите!

Мы выпивали, веселились. Кудря артист! Артист и не за нуда. Только начал он рассказывать о работе со знаменитым режиссером, как позвонила Бике, напомнила Боре, что ждет его в метро. Боря захотел дослушать Кудрю и, чтоб вообще не рушить компанию, захватил и меня с собой.

В вагоне, перекрывая шум поезда, Кудря с нескрываемой грустью признавался, как он разочарован в мастере. «Знаешь, так: балет какой-то разводит – ты здесь стоишь, ты отсюда, а ты сюда, а тут поднимаешь руку, но только медленно-медленно. Медленно! Мушкой цепляешь штору, та-а-а-к, ветерок. Ветерок подул, нажимаешь курок. Стоп-стоп! Што-

ра отклонилась в другую сторону. Штора не в ту сторону. А потом – штора не того цвета, потом, не из той ткани. Вот так! А зерно роли? Развитие характера, сверхзадача – ничего такого, о лепке образа ни слова, ну, там как? – играешь злого, ищи добро. Какой там! Балет – валет! Улыбайтесь, короче, и вам станет весело. Но гонорар приличный. И весьма».

Вагон полупустой. Напротив мальчик с девочкой зависли над телефонами, кнопочными тогда, мама, опустив руку на голову старшей, и, забыв о своей руке, тихо улыбалась, уносились куда-то.

Куда?

Когда ж Кудря особенно ярко живописал похождения в Баготе, мама вспоминала о детях, поднимала вторую руку и гладила старшего. А Кудря вскакивал, разворачивался на носочке, демонстрируя рост и статью, рука в рапиде поднимает револьвер, вторая имитирует штору, и это особенно красиво, и штора, как бы, не дает возможности спустить курок.

И тут на меня напала икота. Икаю громко на весь вагон и не могу остановиться, смешно стало, икаю и смеюсь, как после косячка, хотя ничего такого вроде не было. Икаю и не могу сдерживать смех. Кудря направляет на меня воображаемый револьвер, целится и, наконец, спускает курок. Ба-бах. Не попасть невозможно. В упор. Я валюсь на бок, скатываюсь с сиденья.

Поезд тормозит, распахиваются двери «Станция «Освободителей» переход на «Воскресенскую линию».

Кудря с Борей вскочили и к выходу. Я поднимаюсь с четверенек, а уже поток пассажиров навстречу, я проталкиваюсь, ступаю, наконец, на платформу, шипят двери сзади, еще раз распахиваются. «Освободите двери. Не задерживайте поезд. Освободите двери».

И вдруг откуда-то сверху, как с неба – «Аллах Акбар». И вспышка впереди у третьей колонны. И точно помню перед полным забытием, помню, острое чувство досады, даже какой-то злобы, даже выкрикнуть успел «блядь», и, успев понять, что «всё»...

Бике потом хвастала, Гере рассказывала, что это она кнопку на мобильнике нажимала, наблюдая «красоту» сверху, с перехода на станцию «Воскресенская». Гера никогда особенно со мной не делился, а тут рассказал. Думаю, привирала Бике; картинку, снятую камерой наблюдения, как и все, увидела по телевизору, а так, в ту пору, как говорят, только патроны подносила. Седьмая спица в колесе. Но колесо кровавое получилось.

Борю с Кудрей хоронили на разных кладбищах. Кудрю на главном, как большого артиста, Борю на обычном.

Как они там? У Бога обителей много, слышал и там не всем одинаково.

На похороны я не попал, лежал в реанимации, и не я один. Много раненых, много погибших.

Кудря не увидел себя в лучшем, пожалуй, своем фильме. Я увидел. В Дом кино, на премьеру, шел уже без костылей,

с тросточкой и заметно прихрамывая.

Песни Джойса стучатся в темечко. Как это возможно? Возможно. Любовь зла. Он меня будоражит, безбожник, мучимый верой. Особенно заняло, как прочитал Умберто Эко, спустя лет двадцать после чтения самого Джойса. Да, без Эко не было бы и Джойса, то есть для меня не было бы. «Поэтики Джойса» книга 2003 года, но прочитал ее не так давно, много лет на полке пылилась, очереди своей ждала. Дождалась. Эко пишет о постижении хаоса.

Гера в три года нарисовал ворону. Пикассо не стал бы особенно расхваливать, от него не дождешься, думаю и не удивился бы. Я улыбнулся. Пикассо в три года кубиками не рисовал. А тут? В три года Гера ничего не знал о Пикассо, но нарисовал как Пикассо. Как Пикассо в период кубизма. Загадки хаоса. Эта ворона Геры и сейчас со стены каркает. Все дети гениальны, как часть хаоса. Что потом? «Ты шептала громко, «а что потом? а что потом? Мне ж слышалось, «жопа там, жопа там». Потом он музыкальную школу закончил, в колледж поступил.

Гера вернул мне кнопочный телефон. Хотя зачем он мне. Но я взял, ему тоже не нужен, он купил себе «Apple», дорогой и красивый. Полгода подрабатывал курьером, развозил, посылки, письма, сообщения, чаще посылки. Что там в этих посылках? Надо спросить. А ну как, что-то от Бике. Она ж

на свободе.

– Жора, вы говорили с Бике о Борисе? О дяде Боре?

– Говорили. И что?

– А то, что он погиб, потому что ты тупой. Стой. Не уходи.

Это твоя вина.

– Какая моя вина?! Что такое?

– Боря был бы жив, заодно и Кудря был бы жив, если б Бике не узнала о Боре на войне. Мы с ним на кухне душами терлись, а ты подслушал...

– У меня хороший слух, не надо было орать.

– Слух у тебя хороший, абсолютный. Понятно. А надо было передавать Бике? Это ты! Ты ей рассказал.

– Вали на меня, конечно, нашел виноватого, кроме меня никто и не знал, что Келдышев «афганец».

– «Афганец» – то «афганец», он мог поваром служить, каши варить. Историю с зачистками знал только я. Я так думал, а оказалось, как оказалось.

– Папа, ты хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым? Ты этого хочешь?

– Вижу, ты не чувствуешь. Как ты вообще... ты же знал о них, дядя Боря тебя плавать научил.

– Да? Плавать? Хорошо.

– Забыл?

– Давай спокойно. Папа. Это в спортивном лагере произошло, она в медпункте дежурила, захотела научиться играть «Поговори со мной», из «Крестного отца». Я там по вечерам

на мандолине народ забавлял.

– Научил?

– Мне четырнадцать лет было. А она красивая. Не помню, чтоб мы и разговаривали. Или пятнадцать. Что такое пятнадцать? Плавать учил! В этот момент я только и думал о том, кто меня плавать учил. Ты себя помнишь в четырнадцать лет? Я стал показывать аккорды, а она взяла у меня из рук мандолину и положила ее на подоконник. Стук дерева о дерево. Больше ничего. Нет. Еще струны в корпусе мандолины загудели от удара. У-у-ву-уу. Когда вижу Бике, даже еще за миг, до того как увижу, в голове – уу-у-ву-у. Ты отвел меня в музыкальную школу, ты и виноват.

– Не я, бабушка отвела. Тогда выходит, бабушка твоя и виновата.

– Ничего не выходит. Кто виноват, что я родился? Я вас просил?

«Мама-то твоя точно. Причина всех причин. Родила. А я? Бизнес, подсказанный Стриндбергом. Я не рождал точно. Август Стриндберг утверждал, что ни один отец никогда не знает, отец ли он. И не узнает. Сейчас ДНК. 99 процентов с долями. Почти сто. Но все-таки, почти».

– Ты замучил всех. Балбес, – это я проговорил.

Все, что перед этим, про маму и Стриндберга, в голове только мелькнуло. Тенью прошло.

– Не мучьтесь и не мучимы будите, – он поднялся, – я пойду. И я не балбес.

«Не мучьтесь...», – это Жора выдал, или я подумал, – подумал я, – больно мудрено для него...

– Через неделю госэкзамен. Закончишь свою шарагу?

– Не парься, пап. Я пошел. После полуночи батл в «Крошке», приходи.

– Под мандолину будешь рэпить?

– Ха. Ха. Пошутил?

Гера ушел. Не сдаст экзамен – пойдет в армию и сдаст – пойдет. Но в армию не хочет, в институт будет поступать, чтоб только не «подъем, отбой», а учиться, нет, не хочет. Батл у него, а от ученья скулы сводит. Из одного колледжа выгнали, второй обещал закончить, колледж прикладного искусства называется. До этого три школы поменял, потому что пришлось поменять, потому что «на башке бандана-кланна, все пылает, зависает».

Ушел. Кнопочный Nokia вернул, я нажал кнопку сообщений, много неудаленных.

Дмитрий Григорьевич! Дорогой Джим! Поздравляю с юбилеем! Видела тебя по телевизору...

Ну, да, получил первого октября, в день учителя. И юбилей как раз случился; я в музыкальном училище 25 лет преподаю, читаю курс истории драматургии. Жорик в училище поступать не стал, и школу-то с трудом осилил. В училище другие, они другие, я люблю их. Очень. Как бы хотелось так

безболезненно любить своего сына.

Видела меня по телевизору, номер телефона откуда-то узнала. ЭСМска пришла с краю света. С юга. Видела по телевизору, а вживую когда? Сколько лет прошло?

Полистал сообщения. Какие-то удалял, какие-то оставил. Почему эти? Профессор Мансуров утверждал, что ни одно событие не исчезает из памяти, он вел семинары в нашей группе, когда я учился, говорил, следы памяти остаются навечно. Нет-нет, так он не мог сказать, не навечно, конечно – навсегда; есть же разница между «навечно» и «навсегда». Может совершенно неожиданно всплыть такое, от чего в ужасе заорешь «не было, не было, не было этого». Профессор Мансуров. Может проявиться и радость давняя, и проснешься с улыбкой во весь рот. Здесь же в телефоне что оставил – оставил, оно осталось, а что удалил, уже не проявится ни во сне, ни наяву.

Вот еще СМС.

Привет. Это Перепелкина. Не ожидал? Я Толика в госпиталь доставляла. Помнишь Толика? Попал под обстрел, минами накрыло.

Толика? Помню. Толик Бекулов. Перепелкина с Толиком вычислили меня. Но... Я вернулся к предыдущему сообщению. Про Толика, про Перепелкину, может быть, потом.

Лиза. Поздравила с юбилеем. Зачем? Чего хотела? Тут вы-

скочило вдруг, без связи, проявились следы памяти:

Едем с Мансуровым в метро, случайно рядом оказались. На лице скрытая улыбка, такой он, как правило, другим не помню, с ним, как с приятелем. Возможно, и сегодня пишет, лекции читает, семинары ведет. Сейчас загуглю, посмотрю.

Социолог, философ, психолог.

Уже нет его.

Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами...

Недавно умер, какие-то месяцы не дожил до войны, где Толика минами накрыло. О чем мы говорили в метро? Не могу вспомнить, как не напрягаюсь. Могу напридумывать. Но нет, не стану. Хорошо с ним было – внимательный, деликатный, улыбчивый.

Мой отец тоже воевал, он как бы рядом всегда, не особенно деликатный он, и не философ, и даже не профессор. Только раз я не поздравил его с днем рождения, потому что именно в тот день, когда я его не поздравил, меня взрывной волной стукнуло о колонну в метро. Очнулся, меня тащат куда-то, и нога вывернута нелепо, да будто и не моя нога это вовсе. Отец о войне не рассказывает, не любит. От матери только слышал, ей, значит, что-то рассказывал, а она мне. О том, как скачет с шашкой, догоняет немца и шашкой сверху от плеча до плеча, тот обрубком ногами по земле топ, топ, топ, топ. И падает. Наверное, ж падает, только отец этого уже не видит. Атака, горячка. А может, видит, надо

спросить. Отец тоже улыбочивый, открыто улыбочивый; уныние, стрессы, депрессии – не про него. На войне он командиром отделения был, в разведке, как и Толя Бекулов. А как воевал Мансуров? Не спросил, мы с ним явно не о войне говорили. Так о чем же? Ведь не удалял я этот разговор, может еще всплывет. Во сне?

Первая, вторая сигнальная система. Первая у всех живых; все, кто ходит, ползает, движется, работает челюстями – все с первой. Со второй всё не так. Любопытно, он ведь материалист? А его учение о сигнальных системах – это, как бы, со стороны материалиста видение Бога. Может быть, об этом в метро с ним говорили, о второй сигнальной системе, которая непосредственно связана со словом? И только со словом. И тут никакого мутного поля неопределенности между собакой и человеком, а вполне себе ясное разделение. Хотя, конечно, любить легче собаку.

– Все, хотят любви, даже те, кто всех ненавидит, – это след памяти всплыл. Боря Келдышев.

– Любви? Да все хотят восхищения, – это я. – И только. Смотрите, глаз не отрывайте, трепещите и визжите – жажда восторга. И только.

– Мало? Трепет, восторг – чего еще? В чем разница?

– Одна дает, другая дразнится, вот тебе и разница. Любовь – чувство, остальное эмоции. Первая сигнальная система.

– Умничаешь? Учитель.

– Учитель. И что? Любовь и слово, слово и любовь, нет

одного без другого. Жажда, восторг – от родства с животными. Животное – эмоции.

Боря молчал. Темнел лицом. От ушей шла лиловая волна, устремляясь к вискам и кончику носа.

– Да? – произнес, наконец. Остановил машину, мы ехали с ним куда-то, закурил. Сзади посигналили. Съехал к тротуару, припарковался, докурил, посмотрел на меня.

– На учителя всегда найдется учитель. Тот, что покруче, «а древо жизни пышно зеленеет», – и захохотал, – Любовь! Любовь!

Лиза! Лиза любила меня? Сильно сомнительно. С юбилеем поздравила. А я влюбился с первого касания. На новогоднем вечере, в девятом классе, танцевал с Ромео, Лиза была в костюме Ромео со шпагой на боку, а ее подружка оделась Джульеттой. Ромео и Джульетта – тонкие, высокие, заносчивые и надменные. Трудно поверить, но и сейчас при воспоминании о том танце под Битлз...

Is there anybody going
To list to my story
All about the girl who came to stay?
Я хочу вам рассказать
Как я любил
Когда-то,
Правда, это было
Так давно.

Помню, часто ночью брел я
По аллеям сада
Чтоб шепнуть в раскрытое окно
Ah, girl!
Girl! Girl! Girl!

...когда донесется до слуха это «Ah?, girl!» и сейчас ладонь горит, ладонь легла тогда на талию Ромео; было желание убрать, засунуть в карман, в речку, в сугроб, чтоб не жгло, не горело. Выбегали с одноклассниками за угол школы, делали по несколько глотков портвейна, я смелел и под конец новогоднего бала даже пытался целовать Лизу. Не вышло.

Лиза и Лида – Ромео и Джульетта – гордость школы, гордость района, чемпионки – гимнастки.

Сейчас вот СМС.

Я не Джим уже сто лет. Дима я, Дмитрий. А это было единственным и последним ее посланием. Мы увиделись. А как же?

«Лиза» – в глянцевоm журнале «Курорты Кавказа» (мне брат выслал этот журнал) напечатали рассказ начинающего писателя – медика. Любопытно, но он не изменил имен. Как это вам? Не все здесь так, как произошло на самом деле, но, по сути, думаю, Лиза не стала бы ничего отрицать, если б не умерла. Лиза! Лиза!

Когда взломали дверь, она была еще жива. В свои пятьдесят с небольшим, в свои последние минуты, выглядела она величественно. Крупные черты, выпуклые, четко очерченные губы, туманившийся синий глаз, замершие на столе тонкие кисти – она сидела за столом, откинувшись на высокую спинку – весь облик внушал страх и какой-то восторженный трепет. По крайней мере, у юноши-практиканта, впервые наблюдавшем как приходит смерть.

– Джим, – проговорила она и умерла.

Джима, Дмитрия Евглевского, взяли в тот же день. Он приехал из пригорода, приехал, не таясь, с собакой и с огромным букетом; пальцы Елизаветы Егоровны касались вазы с этими цветами на столе. Евглевского многие видели. До поселка, откуда он приехал, езды на машине час, не более. Когда его задерживали, был спокоен, сознался сразу.

История его показалась практиканту–медику настолько нелепой, абсурдной, что он, собрав все протоколы допросов, добросовестно записал ее, практически ничего не прибавив и не убавив. Вот она, эта история.

– Назовите породу собаки, с которой вы приехали, – спрашивал следователь.

– Вы же видели – немецкая овчарка, Зикос.

– Зикос, да? Овчарка? Почему вы взяли её с собой? Как я понимаю, вы приехали на свидание к школьной подруге, не виделись?.. сколько вы не виделись?

– Тридцать.

– Тридцать?

– Да, тридцать лет.

– Тридцать лет не виделись и приехали с собакой?

– А что вам собака?

– Здесь я задаю вопросы!

– Конечно. Да. Собаку не с кем было оставить.

– Вот как? Хм. Пес не производит впечатления беззащит-

ного

существа. Скорее наоборот. Подробнее, пожалуйста.

– Пожалуйста. Я приехал в Можары, поскольку...

– Куда вы приехали?

– В Можары, пригород.

– А! Да, да. Продолжайте.

– Там живет мама, родня, отец, брат, тети, дяди, племян-

ники. Отпуск у меня, приехал отойти от столичной жизни.

В первый же день, а точнее вечер, брат решил устроить ат-

тракцион. Сидели за столом. За праздничным столом, давно

не виделись.

– Я спрашиваю вас, зачем вы на свидание со школьной

подругой берете овчарку? – следовательно хлопнул ладошкой

по столу.

– Вы же просили подробнее.

– Хорошо. Я слушаю.

– Брат встает из-за стола, это частный дом, мы во дворе

сидели, встает и предлагает мне познакомиться с Зикосом.

Вы же знаете, собаки очень чувствительны к страху, они его

чуют, и, наверное, чтоб он в них не проник, они источник страха тут же пытаются уничтожить. Мне же в ту минуту было только весело. Давай, говорю. Брат выпускает Зикоса из вольера, тот сразу же бросается ко мне и тычется мордой в колени, потом поднимает голову и смотрит на меня, и дышит шумно – а-ха, а-ха, а-ха. Я спокойно поглаживаю его между ушей, он с восторгом подпрыгивает и мордой своей тычется мне в лицо. И облизывает. Язык шершавый. Дыхание собачье. Брат мой в еще большем восторге. Он тебя узнал, кричит, хоть и видит в первый раз, я так и знал, говорит, мы же пахнем одинаково. У меня еще тогда мысль мелькнула, интересно, я подумал, когда мы исходим страхом, что с нашим запахом? Или запах страха один у всех? Собаки-то его чувствуют. Но у них же не спросишь.

– Послушайте, Евглевский... я правильно ставлю ударение? – следователь закурил.

– Правильно, на втором слоге, – кивнул Евглевский.

– Я вам задал вопрос, вы помните?

– Я помню, – и Дмитрий надолго замолчал.

– А скажите, – следователь потушил сигарету. – Скажите, когда вы ехали в Можары, вы планировали встречу с Елизаветой... м-м-м... Егоровной, с вашей школьной подружкой? Когда вы решили, что нужно встретиться?

– Нет, я не планировал. Прошло тридцать лет. Тридцать лет. Из-за собаки пришло желание увидеться.

– Из-за собаки?

– Из-за собаки. Зикос привязался ко мне. Бегали с ним на выгоне за улицей, поводок на руку наматывал и несся следом, еле поспевая. По ночам его выпускали из вольера во двор. Ночи теплые, двери распахнуты. Зикосу не разрешалось заходить в дом, однако, с моим приездом он стал пробираться в комнату, где я спал, и замирал у кровати; если я не просыпался, он будил меня, тихонько поскуливая и тыча мокрым носом.

Первое убийство я совершил в детстве. В седьмом, нет в девятом классе. Лиза жила в соседнем доме. Двор в двор. Девичья фамилия ее матери Тротхвадзе.

– Дмитрий... э-э-э, господин Евглевский, причём тут?..

– Да, да, я понимаю, не хотите слушать. Причём тут?! Вот притом! Она грузинка. По матери, но грузинка.

– Хорошо, грузинка! Так что?

– Я это узнал перед ее смертью.

– Хотите в сторону увести, размазать, так сказать. Но, однако, хорошо! В соседнем доме, через забор, я правильно понимаю, это частные дома?

– Ну, да.

– Рядом, через забор, живет грузинская семья, а вы и не знаете.

– Представьте себе, именно так. В то время национальности мы не придавали никакого значения, притом, что фамилия у нее, как вам известно, Покатилова; как я мог понять, что она грузинка, – Евглевский опустил голову.

– Так... Сейчас другое время. Вы узнали, что она грузинка, и убили ее.

Евглевский посмотрел следователю в глаза:

– Я люблю грузинские песни, – помолчал... – из их двора доносилось иногда... Ну, да. Всегда любил. Особенно, хор. Хриплые перебаты. У меня в животе стынет, когда голос летит, летит, вверх, вверх и вдруг тонет в волне хора; потом резко обрывается. Понимаете?

Евглевский неожиданно вскинул подбородок, вдохнул, раскрыв широко рот, и, вытаращив глаза, запел по-грузински. Пронзительно. С хрипами в горле.

Следователь тихо улыбался. Это был молодой еще следователь, однако горячность его умела подчиняться и прислушиваться к холодным соображениям логики. Он вел не первое уже дело, и видывал разные типы и персонажи, но чтобы убийца вдруг запел! Да еще на незнакомом языке!

– Вы говорите по-грузински? – спросил он.

– Нет, не говорю. Песню просто выучил. Наизусть. Давно. В студенческие годы.

Они помолчали.

Евглевский попросил воды. Следователь налил в стакан из пластиковой бутылки. Евглевский дождался пока выйдет газ, выпил. Взглянул на следователя:

– Я что сейчас должен вспомнить?

– Вы не ответили на мой вопрос. Почему на свидание вы взяли пса?

– Ну да. Очень просто. Когда я вызвал такси, чтоб отправиться к Елизавете Егоровне, на такси полчаса ходу, я думал скоро вернуться, в доме никого не было. А Зикос, я говорил, как-то уж очень привязался ко мне; когда я открыл калитку, он юркнул впереди меня, он слышал, как подъезжала машина. Я, когда направился к такси, он так заскулил, с завыванием. Я схватил его за ошейник и потащил во двор. И тут он просто взвыл. Меня перекосило. Я говорил вам о первом убийстве.

– Что значит перекосило?

– Скужило. Точно так скулил Карай в нашем дворе, в детстве. Это был большой пес, дворняга с примесью овчарки. Я сколько помнил себя, помнил и его. А тут он стал выть по ночам, иногда даже и днем. Когда он завывал, во всей округе стихало, как перед сильным ветром. Птицы смолкают, а может, улетают куда подальше. И у Лизы во дворе и в доме, как в гробу. Ни песен, ни звуков. Она просила меня сделать что-нибудь. К этому времени я мучительно был влюблен в нее. За несколько месяцев до того как взвыл Карай, накануне Нового года на бал-маскараде Лиза в костюме Ромео танцевала исключительно с подружкой Джульеттой. Я влюбился в Ромео, как только они появились в зале, как только увидел ее в короткой тунике с длинными ногами в красных колготках. Никак не соединялись у меня эти две девочки – соседка Лиза и Ромео. Ромео с вызывающим синим взглядом. Я тут же спекся. К концу праздника мне-таки удалось ее притиснуть

к сцене, подальше от ёлки. Притиснул, и очумело ткнулся губами где-то между ухом и ртом. Но больше запомнилось, осталось на ладонях – шершавость ткани бархатной туники. И ладонь горела. Я сильно сжал ее талию. Она вскрикнула и захохотала, тут же из толпы выскочила Джульетта и оттеснила меня. В последнем вальсе они кружили вместе. Прошло полгода, и завыл Карай. Случалось это не каждую ночь, но... Выл иногда и днем, точнее, ближе к ночи. И вот она просит меня сделать что-нибудь. Карай был моим ровесником. Только для пса 15 лет – глубокая старость. Моей жизни конца не видно в 15 лет, может даже, его и нет в 15 лет. Конца жизни. Вот любопытно, товарищ старший лейтенант, любопытно, в раннем возрасте, у детей, то есть, день тянется медленно-медленно, а когда уже начинаешь замечать мерцающий финал, дни пролетают с неестественно сумасшедшей скоростью. Правильнее было бы, наоборот, ведь у детей впереди столько дней, пусть бы они и бежали скоренько, а нам бы оттягивать приближение каждой минуты. Но нет – все несется, несется... Несправедливо. Неправильно. Изъян какой-то в миропорядке. Только без мистики. Не говорите о вечном, небесном...

– Не говорю. Я слушаю. Продолжайте.

– Я застрелил Карая. Она стояла рядом.

– Застрелили?

– Да. У меня был поджиг. Не могу сейчас вспомнить, откуда брался порох, но, по необходимости, никогда в нем не

было недостатка.

– Что такое поджиг?

– Трубка. От спинки кровати. С одной стороны сплющивается, заливается каплей свинца, делается прорезь, как в фильме «Брат», видели?

– Нет, не видел.

– Сплющивается конец, загибается, потом накладывается на деревянную рукоятку и закрепляется. Вот и все. Насыпашь пороху, следом пыж из газет, а лучше из школьной тетрадки. Из тетрадки по русскому языку. Суффиксы, придаточные предложения. Карай наблюдал, пару раз вильнув хвостом, и как-то устало поворачивал голову в сторону и вверх, но, не сводя с меня глаз. И сверху шарики от подшипников.

За огородами, у речки я привязал его к терновому кусту. Он не сводил с меня глаз. Я чиркнул коробком о спички, прикрепленные головками к прорези. Он смотрел на меня. С участием и нежностью. Головки вспыхнули, запахло серой. Его отбросило выстрелом, веревка, привязанная к кустам, натянулась. Ошейник мы сняли, и Лиза помогла мне закопать Карая. С тех пор как-то никогда мне не доводилось слышать песен из их двора. Грузинских, в смысле, песен. Часто я ждал ее после тренировок, и мы вместе шли домой. Она занималась гимнастикой, акробатикой. Вместе с Джульеттой, то есть с Лидой, подругой. Лида из вредности старалась не оставлять нас вдвоем, я готов был еще раз использовать свой поджиг.

– Простите? – следователь поднял глаза.

– Шутка. Им нравилось злить меня. Одна посмеивалась, другая незаметно улыбалась. Однако, когда я поцеловал ее, она подняла глаза и сказала: «Ты можешь добиться моей любви». Думаю, этого не произошло.

– Чего не произошло? – прервал паузу следователь.

– Ничего не произошло.

– Вы были близки?

– Что?

– У вас была интимная близость?

– Я должен отвечать?

– Да, отвечайте.

– С Елизаветой Егоровной, – Евглевский перешел на хриплый шепот, – не было близости. Что это меняет? Я же сознался. Я убил! Чего еще вы от меня хотите?

– Успокойтесь. Попейте воды.

– Сами пейте.

– Зачем же так, Дмитрий э-э-э... Я делаю свою работу. У вас скоро будет много свободного времени, можете заняться изучением следственного дела. М-да. Прошу ответить, вы были близки с покойной?

– Да. Пожалуй. В юности.

– Хорошо, продолжайте.

– Я должен рассказать, как это было?

– Нет, не должны. – Следователь выдержал паузу. – Почему вы убили ее?

Евглевский смотрел в окно.

– Если вы объясните, мы сможем прекратить допрос.

Евглевский не отвечал.

– Ну что ж, – следователь поднялся, вышел и скоро вернулся со свертком. Положил на стол:

– Разверните.

Евглевский нервно пожал плечами, не поворачивая головы.

– Хорошо, – сказал следователь и зашуршал оберткой. Бумагу смял в комок, бросил в урну. Положил перед Евглевским внушительных размеров круглые часы на цепочке, такие в былые времена эстетствующие пажоны носили в жилетном кармашке.

– Ваши?

– Конечно! Вы же знаете. Что за вопрос?

– Ваши значит. Покажите, как они действуют.

– Я показывал.

– Я не видел. Надеюсь, вы заметили, что у вас новый следователь!

– Мне все равно. Смотрите видеозапись. Меня много раз просили повторить.

– Ну да. Вы пытались напасть на следователя. Потом в обморок упали. Занятно.

– Ваш предшественник требовал, чтобы я во время демонстрации вспоминал слова любви.

– Любви?

– Да. Описывал наши свидания с Лизой.

– Ничего такого я не прошу. Просто покажите, как действует ваш механизм.

Евглевский взял часы, повернул ушко, соединил с цепочкой, вдавил его и отщелкнул в обратную сторону – из корпуса выскочила тонкая игла.

Он положил часы на стол:

– Я не думал... Не хотел... Я не хотел её убивать! – он схватил часы и, раз за разом, стал повторять выброс иглы.

– Достаточно. Оставьте. Прекратите! Однако игла сама собой никак не могла выскочить?! Значит...

– Ничего не значит. Я не думал, что этой иглой можно убить, потому что не помню... Не было ничего! Я не убивал. Не убивал!

Евглевский зарыдал.

Следователь вызвал охрану, и Евглевского увели. Следователь сел за стол, выключил видеокамеру, отмотал видео назад, нажал «пуск»:

Евглевский читает стихи, его слушает следователь, начавший это дело. Слушает с остановившимся взглядом и, поглаживая редкие седые бакенбарды. Был он возраста близкого к возрасту убийцы.

Евглевский читает:

Сегодня ночью снился мне Петров

Он, как живой, стоял у изголовья.

Я думала спросить насчет здоровья,
но поняла бестактность этих слов».

Она вздохнула и перевела
взгляд на гравюру в деревянной рамке,
где человек в соломенной панамке
сопровождал угрюмого вола.

Петров женат был не её сестре,
но он любил свояченицу; в этом
сознавшись ей, он позапрошлым летом,
поехав в отпуск, утонул в реке.

Вол. Рисовое поле. Небосвод.
Погонщик. Плуг. Под бороздою новой
как зернышки: «На память Ивановой»,
и вовсе неразборчивое: «от...»

Чай выпит. Я встаю из-за стола.
В её зрачке поблескивает точка
звезды – и понимание того, что,
воскресни он, она б ему дала.

Следователь и Евглевский смотрят друг на друга.

Следователь указательным пальцем ерошит редкие свои
белесые бакенбарды:

– Я не понял. На слух сложно, знаете ли, – прерывает он молчание и кладет перед Евглевским лист бумаги и ручку. – Запишите.

– Что записать?

– То, что вы декламировали. Пожалуйста.

Евглевский берет ручку и, старательно, останавливаясь и припоминая, выводит строчку за строчкой. Закончив, протягивает лист:

– Я вспомнил еще последнее четверостишие. Добавил.

Следователь читает:

– Чаепитие. – Дальше невнятно бубнит все стихотворение и заканчивает вполне внятно, – ...и обращает скрытый поволокой, верней, вооруженный ею взор к звезде, математически далекой. Математически далекой. Далекой. Это вы сочинили?

– Нет, – отвечает Евглевский. – Это Бродский сочинил.

– Ну да. «В её зрачке поблескивает точка звезды – и понимание того, что воскресни он, она б ему дала». Дала! Я понимаю. Если б он воскрес! У вас была интимная близость с убитой?

Евглевский не отвечает.

– Так, хорошо. Что вы еще имеете добавить? Я ведь пока не определил – вы сотрудничаете со следствием или только собираетесь? Вы вполне осознаете, сколько вам светит? Молчите?

Видеозапись обрывается.

Молодой следователь продолжил допрос на следующий день.

– Я просмотрел видеозапись. Еще раз. Однако, вопросы остались. Попрошу быть откровенным. Понимаете, господин Евглевский?

– Да, конечно. Но я... видите ли, я не могу восстановить, так сказать, как все это... Да, мы сели в такси. С Зикосом. Таксист не возражал, против собаки не возражал, он приятель моего брата. Можары – поселок, там все на виду. Но это не важно. Доехали быстро. Я купил цветы. Уже в городе. А когда выезжал из Можар, набрал Елизавету... Егоровну. Как только дверь захлопнулась за Зикосом я и набрал. Было слышно – она заметно волновалась. Это она нашла меня. Через интернет. Сейчас просто. Вся страна как одни Можары. Никаких темных переулков, темных алей. Да. Купил цветы у вокзала, подъехал к ее дому. Таксист еще спросил, надо ли заезжать за мной, номер своего телефона оставил. Елизавета жила одна. Просторная квартира в центре, вы видели, конечно. Сразу после школы она приехала покорять ваш город, работала в аэропорту, потом летала стюардессой на местных линиях, а потом прошло тридцать лет. Собаку я оставил у подъезда. Третий этаж. Позвонил. Жара стояла – асфальт плавился. Балкон у нее был открыт, и когда я вошел, от сквозняка в глубине комнат что-то упало, звякнули осколки. Она неловко протянула мне руку и нервно засмеялась. Голос не изменился. У меня спазмы в горле. Смеялся

Ромео. «К счастью, – проговорила, наконец. – Проходи». Потом сели за стол, выпили, что-то ели. Перед этим она убрала осколки из соседней комнаты. Показала еще разбитые кусочки, приставив их один к другому. Я увидел памятник чеховской даме с собачкой в Ялте. Было видно, что ей очень жаль этой крымской тарелки, она привезла ее из последней совместной поездки с Гариком. Я потом и фотографию его увидел. Он обнимает Лизу в Анталии, в Маниле, Батуми, где-то там еще, на Золотых песках, наконец, в Крыму. Я просил показать детские ее фотографии, никогда не видел. Очень хотел увидеть девочку Лизу. Мы ведь ровесники. А нашими соседями они стали, когда Лиза уже не была ребенком.

– Да? Что вы хотели увидеть? – встрепенулся следователь.

– Фото Лизы, маленькой. Её фото в детстве.

Следователь открыл ноутбук, щелкнул клавишами, развернул его к Евглевскому.

На экране черно-белые фотографии сменяли одна другую. На первой под Новогодней елкой стояли Лиза и Лида – Ромео и Джульетта, потом – они же под грушей лет пяти – трех с испачканными коленками и с застывшими в ожидании «птички» лицами, и еще, где ее принимают в октябрюта, дарят что-то, она на брусках в спортзале...

– Понимаете, – наконец заговорил Евглевский, – я застрелил Карая. Да. Только все же... в детстве, в начале жизни внутри жило какое-то неостывающее волнение, я всегда был влюблен, любил Карая, брата, отца, Бориса Келдышева,

Лизу. Олю. Таню. Иру. Всегда горячая волна внутри. Сейчас?.. – Евглевский пожал плечом. – Я просил показать ранние её фото. Но она показала другие. Гарик – крупный мужик с восточными маслянистыми глазами держал бандитскую кассу города. За год до нашей встречи с Лизой его застрелили на разборках. Он был очень доверчивый, со слов Лизы. Не успел взять расписку на крупную сумму. На очень крупную, а вдруг срочно понадобилась наличка. Тут Лиза прослезилась: «На похоронах мы вместе стояли – Гарика жена, дети, я и Лида, а мой сын не пришел. Двадцать лет мы были вместе, – она вдруг улыбнулась, – а у Лиды муж полковник в РОВД. Но мы ладили, вместе отдыхали...» Я спросил о сыне. Это был сын не от него. Она была замужем, но рано овдовела.

– Почему Елизавета Егоровна не захотела показывать вам свои детские фото? – следователь повернул ноутбук к себе, – щёлкнул клавишей, приник к экрану.

– Может быть, потому, что она никогда не любила меня, – ответил Евглевский.

– Какая связь?

– Понимаете, я думаю, в начале ее жизни в ней тоже плескалась горячая волна. Мне не повезло, я говорил, я увидел ее, когда бантов она уже не носила. Но и ей не повезло. Когда я ей напомнил о том, что она никогда не любила меня, она очень удивилась. А собственно что? Она и мужа не любила, да говорит, нужна была квартира. Ну а Гарик?.. С ним

она на всех курортах побывала. Он не был жадным... Потом она стала поносить мужиков. Мы выпивали. Она вспоминала мужа, Гарика, других, все оказывались животными... Гарика она хотя бы приучила делать маникюр... Но... И вновь она заводилась: сейчас ей замечательно, никому ничего не должна, не зависит ни от чьих настроений и капризов... Я выпивал. Она горячилась все более и более. «Я веселюсь, когда мне весело». Тут я вспомнил о Зикосе, у подъезда. Достал часы. Она засмеялась, попросила взглянуть. Я отстегнул цепочку от кармана, положил их перед ней. Она взяла, щелкнула крышкой, и засмеялась, высоко вскидывая голову. Дальше не все хорошо помню. Видел то же лицо, губы, трогал ее колени, грудь, она смеялась. Ты, говорит, кроме часов, что еще нашёл? Сможешь отвезти меня ну, хотя бы на «Волчьи Ворота», помнишь, тут же рядом, там сейчас аквапарк, золотой песок, мы снимали там коттедж с огороженным пляжем, голые загорали, только я не люблю заборы. И смеется. Помню, я услышал шум за окном... И пока вставал из-за стола, шел к балкону, пробила мысль, едкое такое соображение: жила во мне у самого горла, не откашляться, не выплюнуть. Я носил в себе ее все годы, все, что прошли и несутся сейчас, можно остановить их, все было ложь, я носил в себе ужас и не знал этого, надо стереть, прекратить... Не дойдя до балкона, я вернулся и показал Лизе, как выскакивает игла. Она захохотала. Я пошел к балкону. Внизу стоял Зикос и тихо рычал, задрав морду...

На этом повествование юного медика, участвовавшего в расследовании дела об убийстве Елизаветы Егоровны, обрывается. Осталась, правда, короткая приписка. Приведем и её.

– Я встретил Евглевского, – пишет доктор, – через шесть лет на одной из бесконечных войн, что идут сейчас по всему свету. Выглядел он для своих лет замечательно. Высокий, худой, тюрьма пошла на пользу. Он занимался гуманитарной помощью, правда за спиной у него болталась винтовка. Именно винтовка. А я прибыл наладить работу госпиталя. Как я понял, он не желал меня узнавать, это было видно, однако я порывисто бросился навстречу, протягивая руки.

Потом мы долго говорили. Выпили. И еще выпили. Был он как-то по-юношески восторжен, радостно-беспокоен. Выпивал с удовольствием. Заметно веселел. Хотя с чего бы? Кровь, бомбежки, трупы. В его годы жить в разбитых городах!?

– День идет как день, – говорит, – никуда не спешит. Бог требует: будьте как Я. Я и буду. У Него ведь день, как тысячу лет и тысяча лет, как один день. По желанию. Помнишь, доктор? – он поднял стакан.

– День, как тысячу лет?.. Вот как?.. А все-таки, Дмитрий, скажите, это вы укололи Лизу? Елизавету Егоровну?

– Лизу? – он искренне удивился. – О чем ты, доктор?

Собственно – «над вымыслом слезами обольюсь». Да и трудно сказать, что здесь вымысел. По сути, все правда. «Со-

три случайные черты и ты увидишь – мир прекрасен». Или ужасен? А со случайными чертами какой он? Мир. В общем, не стал я призывать к ответу юного Чехова. Не соврал он в главном. Да и кто сейчас читает «Курорты Кавказа»?

Кто вообще читает?

Разве что СМС в телефоне.

Пришло СМС на мой новый телефон. От Геры, от сына.

Папа, маме сколько лет?

С чего это, «сколько лет маме». Срочно понадобилось. Не стану отвечать. И тут же ответил.

Посчитай, мама родила тебя в 34

Когда ей стало 37, Гера в белесых кудряшках, глаза синие, распахнутые, радостный и неутомимый, вдруг насупился, сейчас заплачет, это тетка в супермаркете, всплеснув ладошками, пропела – «ой, какой милый ребенок, какой чудный, а ты мальчик или девочка?» «А я не знаю», – в глазах слезы, весь стал одним мучительным вопросом, устремленным к маме.

Вот тебе потом и кислые смоквы. Не знает он кто он, не спроси тетка в магазине, так бы и не поинтересовался. А

где, например, Эльбрус находится? Наверняка не знает. Маме лет сколько? Именно, что – ?

Большой – ?

Я позже спросил, сменив тему, он как раз колледж закончил с горем пополам, я ему что-то по поводу устремлений, а он:

– Какие идеалы, батя, перестань дремать.

– Ладно, – меняю я тему, – сколько лет матери, посчитал?

– Нет.

– Что так?

– А зачем?

– Ты же спрашивал.

– Ну спрашивал, кто-то позвонил, я ответил, а потом...

потом не помню.

– Все-таки, с чего вдруг заинтересовался возрастом матери?

– Да я хотел узнать, чего это она черная, а я рыжий.

– И как это с возрастом связано?

– Ты сам говорил, что всё со всем связано. Так скажи, мама у нас кто?

– В смысле?

– В смысле национальности.

– Бабушка твоя, скорее всего, польская еврейка была, это она тебя в музыкальную школу отправила, мамина мама.

– Понятно, – он уткнулся в свой Apple, – а вот, – и прочитал выразительно, – *Эльбрус – стратовулкан, самая высо-*

кая горная вершина России и Европы. Талая вода ледников, стекающая с его склонов, питает крупнейшие реки Северного Кавказа: Кубань, Малку, Баксан... – выключил айфон, сунул в карман, – Эльбрус – это вулкан, прикольно.

Он ушел, а я отмотал сообщения в старенькой Nokia, нашел – от Келдышева, которого все любили. Я бы хотел, чтоб его лучшим другом был я. Я один. Я хотел, но этого не было. Когда его не стало, мое застарелое желание потеряло смысл, однако осталось. Как бессмысленное и не такое острое, и какое-то облегчение от смерти – не надо воевать за первенство в рядах его друзей.

Вот его сообщение:

Да полно Вам, Штирлиц!

Он снялся в нашумевшем фильме про партизан. Поляк, белорус и русский идут на задание, попадают в разные ситуации, перекочевывая из одной истории в другую, и в каждой истории один за другим каждый проявляет себя. Русский там – мурло откровенное. Подчеркнутое мурло. Боря играл русского.

Я ему:

– Боря, что ж ты нас так? Понимаю, режиссер решил, куда деться, но все-таки, режиссер режиссером, ты ж таки прямо упивался говнистостью своего персонажа, мог бы где-то иронии поддать. Боря?

Он мне:

– Ты как свою национальность чувствуешь? Как? Скажи.

Я держу паузу.

Он не дает паузе завершиться, обрывает паузу:

– Я геморрой чувствую. Очень чувствую. Чехов страдал геморроем, Достоевский. Это объединяет.

– Что объединяет, геморрой или страдание? – я хохотнул.

Он не услышал, продолжал без паузы:

– А национальность? Большой миф. Чтоб как-то объяснить наше сожителство на земле. Случай всё. Достоевский – белорус, или поляк где-то, хочет быть русским, ну и хорошо, хочешь – будь. Не жалко. Причем, подчеркнуто русским, с особым отношением к полякам. Бог жаждет разнообразия, ну если можно говорить о господней жажде. От этого и выдумка национальностей, чтоб Его не огорчать.

– Боря, чего ж ты ерепенишься всякий раз, когда заходит речь о евреях в твоём роду.

– В роду? – он остановился.

Надо сказать, мы спускались в переход, навеселе возвращаясь из гостей. Он встречался с сценаристом, вернее со сценаристкой, такая удачливая дама, красивая, жгучая брюнетка, живет в центре, в сталинском доме, до потолков два роста, икра, белое вино, шампанское на дорожку. Боря начал с ней работать, а меня захватил, чтоб не скучать в пути. Перед шампанским, она, постукивая длинными пальцами по столу, склонилась к Боре:

– Ты ж наш, свой? А, Келдышев? – улыбнулась и задержала улыбку. Губы зажили отдельной от всего лица жизнью. Искренность и нежность мешалась с абсолютным сознанием собственной неотразимости. Пальцы прекратили дробь, томно вспорхнули и тронули руку Бори.

– Я русский, – как-то угрюмо проговорил Боря.

Мог бы и промолчать, но тут вошел муж с уткой на блюде, и все рассосалось.

– Иаков, – произнес муж, направляясь к столу, – отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человек одолевает будешь.

– Да, – сценаристка освободила место на столе для утки, – Израиль – в переводе – богоборец, избрал, как посмевшегося бороться с Ним. Никого другого не избрал.

– А кто там был еще тогда? – Боря принимал аппетитный кусок. – Избрать избрал, а потом? Избранник Сына Его не признал? Не признал.

– Так-то так, – сценаристка вновь блеснула улыбкой. – Ничей Он, вроде, евреи не признают, и не русский точно. – Она повернулась в мою сторону:

– А представьте, Иисус из русских! Пропали б совсем. Спесь все съела б. Точно! А так, русские не спесивы. Не спесивы?

Я жевал, ответил не сразу:

– Самая характеристическая черта русского человека – это чувство справедливости, – процитировал Достоевского.

Вроде как, и ответил.

Хотя как спесь к справедливости? Или справедливость к спеси? Как они меж собой?

В общем, разговор мирно вырубивал к финалу и вскоре мы пили шампанское на дорожку.

А тут вновь, у перехода, когда я напомнил Боре о евреях в его роду, он вспыхнул:

– В каком таком роду? Ты что род мой проверял? – он стал надвигаться на меня. Контуженый.

Чем бы закончился наш поход к модной поэтессе и сценаристке не предугадать. Но тут вдруг – барабанная дробь из глубин перехода, взвыли струны и быстрый- быстрый речитатив. Мы вниз, там под яркой лампой два музыканта – барабанщик и гитарист-вокалист. Боря тут же забыл о евреях, подскочил к музыкантам, те ему гитару, «да ради Бога», и сразу толпа, не протиснуться. Борю зализали. Он в ударе и в угаре.

Я ему:

– Боря, Боря, у нас программа сегодня. Келдыш, собака!
Но куда там. Боря рвал струны.

– Эх да загулял, загулял, загулял

Парнишка д парень молодой,

Да молодой,

В красной рубашоночке,

Хорошенький такой

Я жду. Заскучал. Ну и ревность. А как же? Где он? Он уже не со мной. Заскучал я и потопал к выходу, к ступенькам. Он и не заметил моей пропажи. Правильнее было бы сказать своей пропажи. Это ж я у него пропал. Или он у меня?

А на следующий день СМСка

Да полно Вам Штирлиц

Хотел дать понять, что я пристрастен, гневлив и мелочен. Если и так, что делать с этим?

«Да полно Вам Штирлиц», имелось ввиду, что не сердись, будь шире дружок, не рви сердце, рви струны своей мандолины.

Гера показал мне аккорды и, когда совсем кисло, я усердствую, терзаю инструмент.

Терзал как-то, много лет спустя, вспомнив «Штирлица» и теплая волна поднялась где-то в области живота, перекадилась повыше к горлу, слеза горячая готова выкатиться, но не выкатилась. Пошел на кухню попить воды.

Гера ест омлет. И свет горит.

– Ты опять свет включаешь, солнце за окном.

– Когда включал, не было, дождь собирался.

– И ты вилку не видишь?

– Не вижу.

– Выключи свет.

Он встал, щелкнул выключателем:

– Все?

– Нет не все. За свет будешь платить. Сколько раз говорил, не включай без надобности. Я тебя спрашиваю сколько раз?

Обстоит все не так линейно – свет – оплати свет. Накануне рассылный принес заказным письмом постановление, и уже не первое, постановление административной комиссии при администрации Левобережного района:

«...Евглевский Георгий Дмитриевич (18-ти лет) в ТЦ «Лиана» распивал пиво «Балтика», ёмкостью 0,5л. с заведомо для него несовершеннолетней Казик Ангелиной Петровной (16-ти лет), чем вовлекал последнюю в антиобщественное поведение путем распития с ним алкогольных напитков. Низость своего поведения признал, при этом, не проявив должного уважения к правоохранительным органам... комиссия постановляет – взыскать с нарушителя Евглевского Г.Д. сумму в 20 базовых единиц...» Далее жирными цифрами сама сумма, подписи председателя, секретаря и дата.

– Сколько раз, я спрашиваю? – у меня в горле запершило.

Он швыряет вилку на пол, выскакивает из кухни, кричит:

– Достал, достал. Бубен.

Я ему вслед:

– Молодец! Добился своего, довел до кипения. А! Смотри, и в ванной свет. Слышишь, в ванной!

Он возвращается, выключает свет в ванной.

– Чего ты хочешь, папа? Хочешь, чтоб я извинился? Пожалуйста, из-ви-ни.

Хлопнул дверью, скрылся в своей комнате.

– Ты Грузия, – кричу ему из кухни, – Россия спасла их от персов. А они? Не было б такой страны – Грузия. А при Советском Союзе?! Жили – не тужили. Князья! Даже если он тебе по яйца, он на тебя свысока, это они умеют. И хамят, и гадят. Их пестуют, а они гадят. И ты такой. Грузин.

Он влетел на кухню:

– Я у психиатра был. Он говорит, у тебя в доме зло. Психиатр говорит, с ним бороться надо. Абсолютное зло! Понял.

И скрылся у себя.

Выхлоп и завибрировали стены – это Жорик рэп врубил. На всю катушку.

Абсолютное зло, ну да я понял. Абсолютное. Грузин миллионы, их много и они разные, никакого абсолюта. А ты один. Как с тобой, с одним?

А какой ласковый был, приветливый, внимательный. Взгляд ясный, участливый. Куда подевался. Тот, которому три года, живет в нем? Или умер?

Летом у мамы с папой гостили, у его деда с бабкой. Летом гусей не режут, ближе к зиме, к Рождеству режут. Но тут такие редкие гости!

Тушка без головы засунута в таз, и ошпаривается кипят-

ком, брызги летят на траву, на голову на траве. Быстро тает облако пара.

Гера смотрит на тушку, на голову. Рядом живые большие серые гуси хлебают воду из корыта. Гогочут.

– Гуси, а вам не жалко вашего товарища? – это ему четвертый год шел.

Вырос и “...оба глаза смотрят нагло, хапанули, зависли...”

Может, стоило задуматься. Раньше. Садимся в вагон, Зоя провожает, мы без нее гостили на Кавказе, она машет рукой, а ему тревожно, и неудобно, и тоскливо – мать на платформе, он за стеклом, сейчас слезы покатят, сейчас всхлипнет. Но нет, говорит вдруг:

– Надо забыть маму, чтоб не страдать.

А у нас на потоке в университете училась девочка Октуй, из Токио, но не японка, отец ее из Тувы. Хотела выйти замуж за русского, «чтоб пострадать». Жорика бы ей.

Приснились буквы в телефоне. Выскакивали по одной.

ЕВГЛЕВСКИЙ, ПОХОРОНИЛИ ГЕРУ.

ПОМИНКИ У МАМЫ

от правитель Келдышев

8.08.2...

А год какой не разобрать.

Во сне значит, Гера – сын Келдышева. Что-то я не спро-

сил Геру, был ли он на похоронах Келдышева. Не дает покоя Келдышев. Ни наяву, ни во сне.

Родственники, близкие Келдышева садятся в автобус, тихо переговариваются. Он смотрит вдаль, поверх автобуса, там светлой полоской, теряющейся в холмах, блестит шоссе, проносятся букашками автомобили.

Шорох рядом.

Из-под крошечного холмика выскочил суслик и завертел головкой, засвистел отчаянно, прерывисто, без остановки.

Трещат кузнечики, предвещая еще большую нескончаемую жару.

Пожилая женщина, бабушка Геры, только одета как городская, вдруг раздумав садиться в автобус, бросается к Боре, обхватывает его руками, громко рыдает.

Он оторопело смотрит на женщину, трогает ее плечи:

– Мама. Мама.

– Боря, Боря, – причитает бабушка Геры, затихая.

– Садись, мама, в автобус, – помогает ей подняться на ступеньки.

Автобус отъезжает от кладбища, несется по шоссе. Из-за холма слева выскакивает пастух на лошади, заворачивает стадо. Автобус тормозит. Боря выходит из автобуса, поднимается на противоположный холм. Холм лысый без кустиков, трава выжжена солнцем. Боря оглянулся, посмотрел вниз, там, у обочины автобус и мать высовывается из рас-

крытого окошка. Кажется, она пытается выбраться, устремляясь к Боре, но окошко не такое широкое.

Перед Келдышевым уже по ту сторону холма виден водопой.

Лошадь ходит по кругу, крутит огромный, в деревянную полосу, барабан и стоящие рядом длинные корытца заполняются водой.

Телята, овцы, козы двинулись вниз к водопою.

Чуть поодаль сбоку, высунув длинный красный язык, бежит огромный рыжий пес.

Стадо стремительно скатывается с холма, но у корыт замедляет ход, а у самой кромки останавливается вовсе.

Стадо стоит.

Мычит и блеет.

Из переполненных корыт начинает выплескиваться вода. Жажда мучит овец, коз, телят, но что-то пугает их, жуткий страх не дает подступить к корытам и погрузить морды в искрящуюся на солнце воду.

Рыжий пес сел в пыль, вскинул голову к небу и завыл.

Тревога охватывает стадо.

Толкутся овцы и телята, задние напирают, толкаются, прорываются, наконец, к корытам, вот долгожданная цель, но к воде ступить не могут, словно невидимая струна впивается в их ноги и не дает ступить. Всего шаг. Однако его не сделать.

Приближается всадник. Спрыгнув с лошади, оставляет

поводья в седле, но лошадь покорно движется за ним. Ступает она устало, медленно.

Завывает пес.

Лошадь останавливается у корыт, вскидывает голову и смотрит на ту, что вертит барабан.

Барабан скрипит, лошадь идет по кругу, толчками из трубы выталкивается вода в корыто. К трубе, куда плюхается вода, подходит пастух, ему навстречу ступает Боря. Пастух взглядом провожает поток от трубы до корыта. Там, под водой, в корыте что-то пугает его, он вскидывает голову и, не дыша, смотрит на Келдышева.

Келдышев в невыносимой истоме, в судороге, сводящей все внутренности, пытается не смотреть вниз, разворачивается в сторону скрипящего барабана, его охватывает острое желание вторить рыжему псу.

Но останавливается барабан.

Встала лошадь.

Боря смотрит на пастуха и взгляд его, наконец, скользит вниз к воде. Там, зажатый стенками корыта, на дне, лежит парень. Он без одежды. Голый. Руки вытянуты вдоль тела и прижаты к старым доскам, местами покрытыми зеленоватым мхом. Ворсинки колышутся, так как хоть и встала лошадь, и не крутится барабан, но порции воды со дна колодца все еще поступают и ударяют в наполненное корыто точно в то место, где голова юноши. Лица не рассмотреть.

Плюх.

Плюх.

Пастух и Боря ждут.

Плюх.

Плюх. И это последний выброс.

Пузыри из толщи воды пошли вверх, пробегает последняя рябь на поверхности и Боря узнает Геру. Это он. У Геры открыты глаза, не понятно жив ли он, лицо излучает умиротворение, даже вострог.

Боря переводит взгляд на пастуха. Пастух – это я Джимми. Джим Евглевский.

Боря присаживается на край корыта и с особенной своей лукавой улыбочкой, в упор, глядя на меня, тихо спрашивает:

– Ты зачем пишешь вот это все?

Я не знаю пока что ответить.

– Это что ты пишешь?

«Роман», – должен был бы ответить я. Но молчу пока.

Боря не понимает.

– Роман? После Фолкнера, Достоевского, после Франзена.

На хуя?

– Боря, не злись, – неторопливо подбираю слова:

– Пишу и пишу, откуда такое пристрастие, ну чего тебя так заняло? Пишу, чтоб не страдать, – ухватил я, наконец, мыслишку:

– Ты. Ты, Боря не оставляешь меня ни днем, ни ночью, ни во сне, ни наяву, напишу и избавлюсь от тебя, уйдут страдания, прекратятся. Такая вот скромная задачка, – голос мой

набирал силу:

– Достоевский-то, не будь, к ночи, помянут, он же человечество осчастливить хотел. Всех страдать заставить хотел, чтоб через страдание мир стал лучше. И что, стал?

Помнится, разбудил звонок. Гера звонил, сказал, что ночевать не придет, что у него все нормально. Я долго смотрел в окно, там башня часового завода, построенного в 1954 году, перед башней застыл кран, строят дом, уже построили семь этажей, еще один и скроются от меня башенные часы, но пока перекрыта наполовину только нижняя цифра 6. Скокнула стрелка на циферблате – 1.35.

Слушаю Геру, смотрю на кран, на крышу недостроенного дома, на скачущую стрелку, смотрю и мучительно пытаюсь что-то вспомнить. Что?

Холм. Водопой. Я видел этот холм, давным-давно. Где?

Вспомнил, этот холм! Он из фильма «Они шли на восток», только без лошади с барабаном. Итальянские солдаты бегут вниз, бежит девушка, солдаты настигают девушку...

В темную новогоднюю ночь...

...мама мыла голову. Длинные, тяжелые, в белой пене, волосы откинута с затылка, скрыли лицо и потонули в широком эмалированном тазу.

Мама полоскала в обильной пене свои волосы, так, будто это белье, только не хватало стиральной доски.

У мамы очень много волос, они густые; когда будет их расчесывать, обязательно полетят зубы у расчески, но это позже...

Я специально спрятал в шкатулку, отделанную соломкой и с портретами из той же соломки двух вождей в знаменах – один с усами и бородой, второй только с усами, – я спрятал в шкатулку гребешок. Мама его не найдет и будет расчесываться расческой; у гребешка зубья не летят, а у расчески летят.

Шкатулку маме когда-то подарил отец. Мама говорит, что он на самом краю степи проводит зимовку самой большой отары. А мама не хочет жить на той далекой кошаре, там, говорит она, нет школы, там сильные ветры, и она очень любит свои аппараты и ядовито пахнущие свои пленки.

Мы и живем прямо в здании клуба, и когда мама будет выносить мыльную воду из нашей комнаты, она пройдет через будку киномеханика, там она и работает.

Мама, не поднимая головы, подала мне большую алюминиевую кружку и попросила полить теплую воду ей на голову. Я соскочил с кровати и поставил табуретку к плите, там вместе с кастрюлями и сковородками стоит фляга с водой; в спешке я запутался в белье, что сохнет над плитой, однако быстро справился, высвободился, добрался до фляги, зачерпнул полную кружку, и... струя потонула в обильном пеннистом облаке. Облако в какой-то миг даже стало больше. Больше, больше, больше.

Но я лил и лил на голову маме воду из фляги.

И победил пену.

Мама вытерла голову, и мокрые свои волосы накрутила спереди в огромный дулёк. Дулёк стал как рог, только мокрый.

Мама вылила воду из таза в ведро, хотела накинуть телогрейку, чтоб вынести воду.

Но я уже опять забрался на кровать и, подпрыгивая на сетке, напомнил:

– А попугать! А попугать!

Маме не хотелось, она медлила, одна рука засунута в рукав, вторая никак ни на что не решится.

Я клянчил настойчиво, не переставая скакать.

– Мама, мама, ну мамочка, мамуля...

И мама сняла телогрейку, оставила ее на табуретке у плиты, и вдруг, выпучив глаза, пошла на меня своим дульком.

Он такой огромный, темный, мокрый и живой... Сейчас он ткнет меня в живот. Страх изгибает мою спину, ноги коостенеют. Я уже не прыгаю, а только визжу, визжу. Визжу пронзительно, в сладостном и восторженном ужасе.

Мама остановилась, опустила руки и весело, с недоумением посмотрела на меня.

Я увидел – стоит мама. Мама, и волосы у нее накручены спереди на лбу.

– Мама еще! Еще, мамочка!

И вновь ужас визгом исходил из меня. И вновь мама оста-

навливалась и хотела выносить воду, но я опять просил, ныл, скулил, настаивал. И мама сдавалась. И вновь шла, шла, шла на меня, зависала, и касалась-таки в какой-то момент дульком-рогом моей груди и моего лица. Я кричал, визжал, колотил руками и начинал рыдать.

Мама отошла к плите, я продолжал рыдать и из-за слез уже не мог увидеть маму, а видел только страшное, мокрое и живое, шевелящееся. Я рыдал и не мог остановиться... и мокрое росло, тянулось, жило и... трогало меня. Трогало.

Я кричал и уже начинал биться на кровати.

Мама набросила на голову платок, она расстроилась, захотела меня отлупить, но сегодня Новый год, и она только махнула рукой и сказала:

– Тю! Тю! Тю на тебя, – оделась и пошла выносить воду.

Заиграл аккордеон... Ах, как сладко и грустно внутри... Рыдая, я свернулся калачиком и уснул.

И вот заиграл аккордеон, за двумя стенками. Звуки далекие, приглушенные, но я проснулся. Выскочил в кинобудку и через окошечко в стене увидел – через весь огромный, в огнях, красно-зеленый зал зависала буква «Х» из кусочков ваты. Посреди зала елка, а сцена задернута бледно-оранжевым занавесом, и у сцены стоит Иван Алексеевич в новом широком костюме, пиджак и рубашка распахнуты и видно полосатую тельняшку. Он играл и пел:

...Самое синее в мире

Черное море мое,
Черное море мое!

Море в далекие годы
Пело мне песни как мать
Море меня научило
Грозные бури встречать...

Я увидел маму. Она в нарядном, в мелкий синий цветочек, платье с высокими торчащими плечиками. Мама танцевала с дядей Григорием. Мама улыбалась и смотрела на дядю Григория. Их толкали другие пары, но маме весело, она кружилась, кружилась. Кружились и ее, огненно рыжие волосы, уложенные поперек головы толстым высоким, хитро сплетенным гребнем.

Аккордеон смолк.

Иван Алексеевич присел на стул, стал перебирать клавиши аккордеона.

К нему подошла моя мама, а дядя Григорий независимо и гордо прохаживался у елки. С ним заговаривали дружки, он кивал в ответ, и все ходил, ходил, кося глазом в сторону мамы и Ивана Алексеевича. Мама что-то говорила Ивану Алексеевичу, тот понимающе поглядывал на нее и не переставал барабанить пальцами по корпусу аккордеона.

Аккордеон не играл, мужики, заскучав, начали играть на бильярде, другие закурили у окна. Окна в клубе открыты –

зимы в нашей степи не холодные, и снег бывает редко и быстро тает.

Наконец, Иван Алексеевич растянул аккордеон:

Г-е-й, отары, вы отары...

Мама любила эту песню, я знаю.

Дядя Григорий выскочил на сцену и запел.

Я взял из стопки в углу кинобудки верхнюю коробку с пленкой и зарядил в аппарат. Это не сложно – на нижней крышке аппарата нарисовано, как вставляется пленка.

Я справился быстро.

Иван Алексеевич перестал играть, оставил аккордеон на стуле и пошел в другой конец зала, к бильярду.

Но дядю Григория уже не остановить, он пел и пел, и без аккордеона:

...Г-е-й, отары, вы отары!

Одиноко, неустанно я иду, бреду...

Пел самозабвенно, звонко, как в степи или в горах.

Иван Алексеевич стоял у бильярда и смотрел на поющего дядю Григория.

У елки выстреливали хлопушки, вспыхивали искрами бенгальские огни, летело разноцветное конфетти.

И вдруг Иван Алексеевич уронил голову и из груди его

вырвался дикий крик, так ишак кричит; закричал, стал хватать с бильярдного стола шары и швырять их один за другим в сторону дяди Григория.

Тот оборвал песню, соскочил со сцены и, петляя, черным быком понесся на Ивана Алексеевича.

Шары летели мимо, мимо, Иван Алексеевич умело уворачивался, летели, летели и последний шарахнул в окно. Массивный широкий осколок завалился в зал, как из ружья бухнул об пол, и разлетелся в разные стороны мелкими кусочками...

...визжали девчата, сыпалось конфетти, сыпались искры бенгальских огней, мама неслась за дядей Григорием, хотела ухватить его за пиджак, и...

Иван Алексеевич взял кий со стола...

Но тут я выключил свет в зале.

Выключил свет, повернул ручку мотора, включил проекцию, и на бледно-оранжевом занавесе сцены побежали картинки:

По склону холма бежит девушка, за ней бегут солдаты, они бегут за ней с разных сторон, это итальянские солдаты, я знаю, я уже видел это кино два раза. Итальянские солдаты догоняют девушку, девушка падает, и уже издали видно: на склоне много солдат, девушка барахтается, но она почти скрыта за склоненными над ней фигурами. На вершине холма из палатки выходит итальянский генерал. Он видит там

внизу на склоне холма своих солдат, он видит, как те терзают девушку. Генерал устал, но он в гневе, что-то проговаривает, что именно не слышно, я не сумел включить звук. Генерал говорит, протягивает руку, и офицер вмиг приносит ему гранату, генерал выдергивает чеку и бросает гранату в сторону солдат. Беззвучно рядом с солдатами сверкает взрыв, солдаты вскакивают, бегут врассыпную, остается лежать приплюснутая к склону холма, голая девушка.

Стукнув гулко о металлический косяк, так что дрогнули киноаппараты, запахнулась дверь киноподборки...

...ворвалась моя мама. Вся в слезах, она схватила и больно-больно стала лупить меня.

Я не плакал, а только зло смотрел на нее.

Мама громко зарыдала, не переставая лупить меня, а я зло молчал.

Рыдания мамы перешли в истеричные вскрики, и она швырнула меня в нашу комнату-пристройку.

Я стоял в полумраке, из окна слепила лунная полоса. Не включая света, забрался на кровать, над кроватью окно, я припал к нему и стал смотреть на выпуклые холмы.

На холмы падал пушистый снег. Холмы темные, а новогодний снег светится. Завтра утром снег начнет таять, и останутся только выпуклые холмы. Но пока снег летит, летит, летит. И светится.

Где-то рядом завывал волк.

Проскакал по поселку и стих сумасшедший всадник. Загоготали встревоженные гуси. Обиженно, жалобно заухала сова. Снег все летел и летел.

У меня в глазах стояли слезы.

Ах, как одиноко и грустно всаднику в степи в новогоднюю ночь.

Да. Та пожилая женщина на кладбище, та, что рыдала на груди у Келдышева, она очень похожа на мою маму. Волосы густые, длинные и не седые. Мама не седела.

Вот ее СМС. Не удалил.

Дорогой сыночек поздравляю с днем рождения пусть сбудется все что загадано было и все о чем можно мечтать.

*От чистого сердца хотим пожелать чтоб жить и любить и любовь всем дарить
целую мама*

Поздравила с юбилеем, в один день с Перепелкиной. Так думаю, номер телефона Перепелкина получила от нее, от моей мамы. Сообщения пришли одно за другим, в день рождения. Я родился в прошлом веке, живу дольше Достоевского, до возраста Толстого далеко, хотелось бы, чтоб это далеко было далеко-далеко. Хотя? Однажды один знаменитый ученый, физик и академик, о страхах перед смертью заметил (я

о его собственных страхах спрашивал) он и ответил, что когда это придет, он по-другому будет воспринимать этот приход. «Надеюсь даже с радостью. Так устроен мир. Надеюсь, с улыбкой, как мой дядя в 97 лет; дядя умер с улыбкой, будто известие получил о радостной предстоящей встрече. Он и жил с улыбкой в сердце, песенки всегда мурлыкал».

А страх, он от нетерпения, суетливости. Грустно, а ты улыбайся – станет весело. Не супонь брови. Мама говорила: «чего брови супонишь?»

Я родился тощим, меньше двух килограмм, страшненьким, и с торчащими волосиками, что-то отталкивающее было в сморщенном шевелящемся тельце. Когда мама увидела, у нее покатила слеза из глаза. Не умилительная. Холодная, одинокая, долго не высыхающая, слеза отчаяния.

Досада и отчаяние.

Потом надо было кормить. Стоило больших усилий преодолевать и досаду и брезгливость. Уродец. Орет, требует. Требуется. Немедленно. Синее от крика – на, кормись. Жадный до еды, меры не знал.

О первых днях на этом свете узнал от нее, от мамы. Зачем? Бог весть. Помню фразу: «какой ты некрасивый». «Ну и ладно, я не девочка», – защитил я сам себя.

Потом, через пять лет, родился брат. Упитанный, спокойный, умеренный в еде. Херувимчик.

Тень его красоты легла и на меня. Потом внуки, Жорик, а с Жориком восторг и радость накрыли маму.

Какое явление в физике сравнимо с прирастанием, или, скажем, с разбуханием любви?

С ядерной реакцией. Больше тратишь, больше становится.

Восторг и радость пришли к маме. Но позже. А первые годы я жил у бабушки, за сорок километров от поселка в степи, на берегу Узловки. Речка быстрая, особенно весной, широкая, и петляет. Если припомнить – три, нет, даже четыре моста в станице, один, деревянный, постоянно сносило течением. Его чинили, чинили. Когда надоело, вбили бетонные сваи по берегам, наварили железные трубы; это уже за пару лет до окончания школы, школу также у бабушки в станице заканчивал.

Привет. Это Перепёлкина. Не ожидал?

Перепёлкина?!

«Жмых, завтра будет **завтра**»

«Помню», – вывел я ниже и передал записку обратно.

Толик, уверенный, что я слежу, как скачет записка с парты на парту, получив ее и прочитав, шевельнул ухом, потом вторым, потом двумя сразу. Толик демонстрировал свою непреклонную волю.

Жмых – это я. Хотя на самом деле меня зовут Джим.

Но!

Джим – жим – отжим.

Отжим!

А отжим – это уже и жмых. Если бы бабушка могла предвидеть такую метаморфозу, был бы я просто Дима. Хотя?

Моя бабушка Полина Семеновна Евглевская, в девичестве – Егольникова такая была... с лицом не общего выражения, если угодно. В колхоз не вступала, поэтому, что такое пенсия, не знала. Жила как птичка небесная. Хиппи. Окончила церковно-приходскую школу, собиралась на Женские курсы в Санкт-Петербурге. Егольниковы не бедные были, и сейчас еще дом их из красного кирпича, хоть и поменьше особняка главы района, однако, основательностью и своеобразием и ему не уступит. Кто-то там, в красно-кирпичном доме поживает? Сто лет прошло. Даже больше. С курсами у бабушки не случилось, семнадцатый год помешал. 1917-й.

Была она молчаливой, тихой; если не окликнуть, голоса не подаст. Первой не заговорит, ни о чем не попросит, как дядя Том у Гарриет Бичер-Стоу. Что-то их роднило. Смирение. Воля. Одного из героев «Хижины» Джим зовут. Еще, она в церковном хоре пела, она считала, что Джим звучит призывно и загадочно. Дж-и-и-мм.

Загадочно? Сейчас загуглю:

Джим – имя, значение.

Джеймс, Джекоб, Джим – пятая буква арабского алфавита...

далее про форму, характер, интерпретации, число име-

ни, в общем, много пару... а вот любопытно

Джим, Джимми – захватчик.

Захватчик?

Не знал, что я захватчик. Дальше, известные Джимы:

Картер, Хендрикс, Клафк, Моррисон, Джармуш...

Много. Много захватчиков. Но, собственно, о бабушке в другой раз.

Я проиграл Толику 2 рубля 70 копеек. Проиграл в джигу. 50 копеек вернул в тот же день. У бабушки взял. А 2 рубля 20 копеек обещал отдать потом. К следующей субботе, например.

Сегодня пятница, первый урок – география; Толик заскочил в класс после звонка и тут же напомнил о себе.

Я без напоминания помнил.

Василий Васильевич, наш географ, из любой темы часто выруливал на совершенно неожиданные умозаключения. Вообще-то он физрук. Но как-то случилось Л.Е. заглянуть в широкие и от пола до потолка зарешеченные окна спортзала. И увидела завуч Л.Е., как 10 «Б» пытается победить брусья. Коварный снаряд. Василию Васильевичу приходится поддерживать девочек, когда они соскакивают на маты, уложенные у брусьев; или приподнимать их, чтоб смогли выйти на «уголок», ну и держать «уголок» помогает.

Он же физрук. Лучший в районе. Может, даже в крае. Первое командное место по акробатике и легкой атлетике.

Пожалуй, лучший на всем Кавказе. Но вот такой случай. Именно, что случай, не следила же Л.Е. за Василием Васильевичем, разве что присматривала по привычке. Они с университета знакомы и в нашу школу пришли в один год. Как бы там ни было, но после увиденных ею «уголков» Василия Васильевича перевели в географы.

А в том классе, в 10-м «Б», самые потрясные девочки. Их семь. В 10-м «Б» семь девочек. Вот сейчас думаю, если хоть одну изъять, то что? Будет уже не 10 «Б», будет 10 –й какой-нибудь. Как, если бы Узловку распрямить, то есть, представить, что русло у нее не петляет. Конечно, каждая, сама по себе хороша. Но семь! И в ряд! Или – прыжки через «кони» – разгоняются и потом несутся с такой скоростью, что после прыжка, налетают друг на друга, падают, катятся по полу, визжат, хохочут. Ногами дрыгают.

У нас, у 7-го «А», физкультура сразу после 10-го «Б». Мы приходили раньше, мальчики нашего класса приходили раньше; как только заканчивался урок, и начиналась большая перемена, мы спешили к спортзалу. Они почти всегда задерживались, и мы, переодеваясь, заглядывали в зал.

Мutilось в голове и кузнечики кувалдами били в ушах.

Все девочки 10-го «Б». В трико.

Как-то, закончив урок, они неслись в раздевалку, а я у двери, случайно, нечаянно, задел плечом одну, потом вторую... третья опрокинула меня не пол. Понеслись дальше. Я рыжий, в веснушках, и самый маленький в классе, мое место

в конце строя. Они пронеслись, не заметив толком, что там упало.

Это были времена, когда негров называли неграми. Вот сейчас, стучу по клавишам, и, выбив, «негров» и «неграми», я увидел, как компьютер подчеркнул эти слова красным. Почему? Нажал правую клавишу на «мышке», вылетело – «нег», «недр», «нега», «неге», «неги». Нега есть, а негра нет. «И дождь смывает все следы» – было такое кино. Тут, правда, следы остались. Но только следы пока.

Да.

Я рыжий, у Толика отец кабардинец, еще в нашем классе чеченская девочка, ингуш, два осетина, осетинка, Ашот – армянин. Но негров мы видели только на фото или на плакатах.

Василий Васильевич рассказывал об Америке – о климате и эскимосах Аляски. Закончил воспоминаниями о студенческой столовой, где ему не раз доводилось обедать за одним столом с негром. В краевом университете негры учились уже тогда.

– И ничего, – говорил он, – губы большие и очень красные изнутри, а так, такие ж как мы.

И он, победно вскинув голову, нес себя между партами. Успел повидать Василий Васильевич.

В другой раз, это был год полета в космос Беляева и Леонова, он поразил не столько нас, сколько сам был сражен собственным неожиданным выводом.

Мы наносили на контурные карты реки – Терек, Малка, Баксан, Кума...

Василий Васильевич натура восторженная и экзальтированная. Реки – его страсть и его конек.

– Терек, – он замер у доски, – по грузински – Тэги, по ингушски – Тийрк, по кабардински – Тэрч, по карачаевски – Тэрк Суу, Тэрк – по чеченски. Терек воет, дик и злобен,

Меж утёсистых громад

Буре плач его подобен,

Слезы брызгами летят.

Но, по степи разбегаясь,

Он лукавый принял вид

И, приветливо ласкаясь,

Морю Каспию журчит:

«Расступись о старец-море,

Дай приют моей волне!

Погулял я на просторе...

Василий Васильевич запнулся. Строчку забыл. Дрогнул бровями и без прежнего пафоса, но проникновенно, закончил:

– Я родился у Казбека,

Вскормлен грудью облаков!

Василий Васильевич окинул взглядом класс.

– Вскормлен грудью облаков, – повторил задумчиво, выделяя каждое слово. – А вообще, Терек – это тополь, и река раньше называлась Терек су, то есть – Тополиная река.

Он продолжал рассказывать о Кавказском хребте, об истоке и пойме Терека, о терских казаках и Льве Толстом, который считал их образ жизни идеальным и надеялся на устройство России по образу казачьего круга. Рассказывал о Сталине, который в начале 30-х призвал в столицу для собственной охраны казаков с Терека, а соколы Генриха Ягоды получили отставку.

Василий Васильевич говорил, говорил, говорил... и как-то начинал взвинчиваться. Крепко сцепленные пальцы на столе выдавали его необъяснимую тоску, говорили о накатывающем отчаянии.

Кончики пальцев побелели.

Он встал.

Помолчал.

Мы продолжали раскрашивать реки и горы.

– Алексей Леонов в момент выхода из космического корабля пролетал над Кавказом. Он видел Терек. Весь. От истока до Азамат – Юрта и до дельты. Видел весь Терек. А бога не видел. Не видел!

Василий Васильевич прошагал между партами, завис у доски, уперся взглядом в недавно выкрашенную черную ее поверхность.

Случалось, и я выигрывал в чикку, но редко. Совсем редко.

Лучше, если игроков много, тогда столбик высокий, легче попасть. Лучшая бита – юбилейный рубль. Если попал – брызнули монеты; бьёшь тогда по краешкам и перевернутую

на «орла» забираешь себе.

– Ну что, принес? – спросил на перемене Толик.

– Отдам, – промямли я и вышел в коридор.

Если забыть о нем, то его будто и нет. Толика. И долга нет. Надо забыть Толика. Хотя бы до вечера забыть. Рубль двадцать. Можно купить семь штук эскимо и еще сдача будет, на кон можно поставить. Лучше не думать.

Не оборачиваясь, я ногой захлопнул за собой дверь. Наверное, перед самым носом Толика.

Перед моим носом выросла Перепёлкина.

Протянула руку и раскрыла ладонь. Там белела монетка – 20 копеек. Не поднимая головы, не отрывая глаз от пола, протянула вторую руку, там – железный рубль. Юбилейный. Я оторопел. Но не очень. В голове мелькнуло: «Ух! Ну вот, теперь еще и бита у него будет атомная. Нет, не будет. Пойду, поменяю на бумажный. Бумажный отдам. А то еще юбилейный! Как бы не так».

Эта Перепёлкина преследует меня, с момента, как только заявила в нашем классе. В прошлом году, к концу третьей четверти ее привела наша классная.

– Это Надя Перепёлкина. Она из Гомеля. Где находится Гомель, Карабекян?

– Гомель находится в Белорусской Советской Социалистической Республике, на реке Сож.

Карабекян знал все.

– Молодец Карабекян. Садись Надя, у нас хороший класс.

Правда, дети?

Мы одобрительно замычали.

Совпало.

Как раз накануне я понял, что влюблен в девочек 10 «Б». Тогда 9 «Б». Сразу во всех. Не хотелось признаваться себе, но это так. Тут Надя. А что Надя? У нее длинная спина. Не ноги, а спина и она выше меня на две головы. И девочки из 10 «Б» выше, но они далеко, в 10 «Б». На расстоянии. А Перепёлкину посадили за мной, там сидела Трошина, одна.

С девочками у меня не складывалось. Может быть, потому что я был влюблен. Они это чувствовали – занят. А, может быть, из-за моего роста, или оттого что я рыжий и в веснушках. Сто причин.

Летом, после шестого класса, мы несколько дней работали в садах. Собирали вишню и алычу. От школы нас везли на «ГАЗ 51», в кузове, на сколоченных из досок скамейках.

Скоро заканчивался асфальт, машину болтало и подбрасывало, тряслись и подпрыгивали мои щеки. У меня толстое лицо. Мне обидно до слез, хотелось руками придержать щеки. Но тогда все бы подумали, что мне это очень важно – мои щеки. А мне не важно. Плевать. Но на кочках они прыгали. Ту-дух. Ту-дух. Да что мне до наших девочек. А Перепёлкина смотрела на меня. Почему она меня выбрала? Может потому, что ни на что большее не могла рассчитывать. Ну да. Стоит он в конце строя. Щеки трясутся. Кто позарится на такого? Она меня злила, и она видела, как я злюсь, поэтому

взгляд ее был печальный. И даже слезливый. Думаю, она меня выбрала сразу, как появилась в классе. Посадили ее сзади, близко, а может, у меня затылок выразительный. Мы же не знаем, какие у нас затылки, а для кого-то это может быть важным. У нее длинная спина. И вообще. Я не хочу. Я занят. Я влюблен. А она бесцеремонна. Ладно бы только пялилась своими коровьими глазами, напоминая, насколько недостижимы девочки 10 «Б». Ладно, смотри, я могу затеряться в одноклассниках и укрыться от ее взглядов, но она ж постоянно как-то выныривала совсем рядом. Сбоку или спереди.

Ветки с вишнями наклоняла, чтоб я смог дотянуться.

Каково!

Про Сож не умолкала. Она у них судоходная. «А у вас есть судоходные реки?» Я помню, заметил тогда – «реки для красоты». А она – «Если рано-рано, до восхода, выйти на палубу и громко прокричать, то можно подумать, что ты один на всем свете. Ты плавал на корабле?» Нет, я не плавал на корабле.

Утром, направляясь в школу, обязательно, всякий раз наткнулся на нее. Чтоб пройти мимо моего дома, ей нужно было пройти лишний переулок, и она делала крюк. Я не мог не догнать ее, когда она маячила впереди, и уж ей ничего не стоило догнать меня, когда впереди оказывался я.

У меня не раз возникало желание укусить ее. По пути в школу мы переходили деревянный мост через нашу Узловку.

Вот бы скинуть ее в поток.

Но были дни, даже недели, когда Перепёлкина словно забывала обо мне. Не замечала. Счастливые дни. Ничто не мешало высматривать десятиклассниц – в коридоре, актовом зале, во дворе... Распахивались синие тяжелые створки дверей, стайка порхала по каменным ступеням вниз, неслась из одного здания в другое, задерживаясь у ивы, пронзительно щебеча и похохатывая, и не замечая никого.

К ним не подойти, в их стайку не проникнуть. Наблюдать – пожалуйста. Издали, втихаря. Сводили с ума их фартуки. Широкие, топорщащиеся в складку, бретельки на груди напоминали о таинственном и невозможном.

Думаю, Перепёлкина из виду не выпускала меня ни на миг. Ее видимое безразличии – хитрость, уловка. Я должен был забыться, потерять контроль, бдительность, и тут-то она стрельнёт, выступит во всей своей силе и сходу победит меня. Захватит, оккупирует.

Монеты на ладонях – сильный ход. Первая оторопь, и тут же – до капелек пота у век – обжигающее желание отдать долг. Отдать долг и потом выиграть.

Выиграть!

Заставить Толика быть в долгу, проходить мимо, не глядя, смеяться за спиной и в лицо.

Я видел монеты, ладони не видел. Чьи ладони? Нет, не так. Перепёлкина уже не Перепёлкина. Остались только ладони и рубль двадцать, и виделась уже моя жизнь без маяты и боли, и маячила победа. А Перепёлкиной не стало.

Когда во дворе, под ивой, я отдавал долг, Толик не смог скрыть удивления. Как-то даже затравленно повертел шеей, ожидая подвоха. Спросить, откуда деньги – это уже слюни пустить. Но большого труда стоило ему не спросить. Он был уверен, я надолго теперь стану его услугой. Когда еще верну все до копейки? А пока потаскаю его портфель, подежурю по классу и за себя и за него.

Дядя его за развалинами старой крепости на кошаре держит отару.

Мне уже приходилось эту тучу гнать к водокачке, пили овцы долго, протяжно, безмолвно. Зной останавливается в небе, останавливается и надменно взирает сверху на них, на меня. Я слышу шорох зноя, его безразличие, остраненность, слышу его бесшумное и бесконечное во всю степь дыхание. И никаких звуков, разве только тушканчик прошелестит рядом в кустарнике. Одна за другой отрываются морды от лотка с водой, и на поверхности остаются белесые хлопья. Неторопливо отваливают и кучно, разом начинают перебирать копытцами вверх по холму, уверенно направляясь в сторону кошары.

Мучительное унижение под беспощадным гнетом зноя и в овечьей компании. Это тогда, в далекие времена Перепёлкиной. А сейчас? Сколько отар прошло по тем холмам?

Я протянул деньги. Он взял не сразу. Юбилейный рубль подбросил на ладони.

В горячке, в устремленности к близкой свободе я не по-

менял-таки, юбилейный на бумажный. Очень спешил.

Он опустил рубль в карман, просиял весь и в порыве щедрости, как можно было бы подумать, вернул мне 20 копеек.

– Держи, Жмых. – усмехнулся, хотел сказать что-то, но зазвенел звонок, и он ничего не сказал.

20 копеек мои. Отлично!

Отлично-то отлично, да только тут не просто неслыханный жест бескорыстия. Я уже не на обслуге, а у Толика, я думаю, по этому случаю были большие планы. Планы рухнули. Но я в игре. 20 копеек, чуть выждать и...

Со ступенек за нами наблюдала Перепёлкина, я заметил ее, когда она тянула ручку тяжелой двери, чтоб опередив Толика, скрыться в школе. Она все видела и все поняла.

Закончились уроки. Класс быстро опустел. Я выгрузил из портфеля тетрадки, учебники и, не спеша, аккуратно, стал засовывать обратно, в первое отделение книжки, во второе все тетради, в третье дневник и всякую мелочевку. Тянул время. Сегодня особенно не хотелось догнать Перепёлкину.

От школы спустился в парк, постоял у кинотеатра. Киномеханик на табуретке снимал со стены старую афишу и пристраивал на ее место тяжелую, в раме, новую: синяя физиономия с кроваво-красными глазами – ФАНТОМАС.

На велосипеде катила грузная большая тетка, посмотрела в сторону киномеханика, тормознула педалями, ловко перекинула ногу через сиденье и багажник, застыла у клумбы, не отрывая взгляда, явно озадаченная и восхищенная. Тяжело

задышала носом.

В наши дни тут бы эсмэску отправила или позвонила кому-то, чтоб освободиться от навалившегося груза тревоги и восторга.

Она захотела что-то спросить у киномеханика, облизала губы, что-то важное хотела, но выговорила только:

– Во сколько начало?

– Два сеанса: в семь и в девять, – важно ответил киномеханик и спрыгнул с табуретки. Афишу нарисовал он сам, и остался вполне доволен своим произведением.

И тетка смотрела во все глаза, хотелось поговорить еще, но киномеханик лениво подхватил табуретку, взглянул в последний раз на синюю рожу и направился к своей кинобудке. Я бы мог составить компанию тетке, но она не замечала меня, и так мы стояли совсем рядом и отдельно, она с велосипедом, я с портфелем.

И Фантомас едко, и сдержанно смялся над нами.

Из-за него упустил из виду девочек 10 «Б». Увидел их уже на выходе из парка, они там сразу расстались, одна свернула к дому за оградой, другая, Тая Гордиенко, направляясь в другую сторону. Неожиданно оглянулась. Мне показалось, посмотрела на меня.

Тетка с велосипедом и Фантомасом остаются в прошлом.

Я устремляюсь за Гордиенко, расстояние быстро сокращается, двадцать шагов, десять... ближе опасно, дышу часто, сохнет во рту.

Она всегда ходила в гольфах.

Гольфы или белые, или желтые.

Сегодня белые.

Широкая резинка сжимает подколенную впадину, и выпуклые тугие икры в ослепительно-белом сильно контрастируют с коричневым темным оттенком этой самой впадины. Их две. Впадины. Они живые, движутся впереди.

У первого переулка свернула, и здесь ее подхватил Виталик на «ИЖ – Ю 2». Гордиенко прыгает на заднее сиденье, обхватывает Виталика, тот газует на нейтральной, щелкает передачей, и они уносятся прочь, надолго вытеснив все звуки и запахи почти наступившего уже лета.

Звякнул сзади звонок, я отпрянул в сторону, тетка на велосипеде протарахтела мимо.

Я стал спускаться к Узловке, на мосту замаячила знакомая фигурка с длинной спиной.

Мимо не пройти. Она смотрела и с испугом и с вызовом. Молчала. Потом кивнула в сторону заводи у берега:

– Там плотвички, смотри сколько!

– Вода здесь застаивается, прогревается, вот они и толкутся.

– Они играют.

И вдруг ухватила мой локоть и потянула к себе, зашептала:

– Ты кабардинцу не поддавайся, он умеет хорохориться, но это только свиду. Не играй больше. А?

Я оторопел и безвольно шагнул к ней, она вторую свою руку опустила на мой затылок, провела мягкой ладошкой.

Я поднял глаза.

Испуганная и вместе надменная улыбка ползла по ее тонким губам, и она наклонялась ко мне. Я отпрянул. Она порывисто шагнула вперед. Я, безуспешно стараясь выдернуть локоть, другой рукой со всего маху залепил ладонью куда-то по ее тонкой шее.

–А! – она оставила меня, отвернулась, руки повисли, смотрела вниз, на бугорок волны.

И вдруг.

– А-а-а-а, – прыгнула с моста.

Портфель ее остался у моих ног, рядом с моим.

Поток подхватил легкую добычу, потащил неторопливо. Еще не лето, зной впереди, а сейчас Узловка и быстрая, и полная. Голова то скрывалась, то выныривала. Перепелкина отчаянно колотила руками, не сдавалась, и, подплывая к торчащему валуну посреди русла, сумела, скользнув ногами, и царапая живот и грудь, ухватиться пальцами за скользкий выступ. словно темная водоросль, фигура вытянулась по течению. Струилась, булькала вода, обдавала брызгами лицо Перепёлкиной. Наконец, ей удалось второй рукой схватиться за камень.

Прошло много лет. Перепёлкина была на войне. Вызволяла, обменивала пленных, выносила из-под обстрелов убитых и раненых, перевязывала и спасала.

Я не спас никого и в тот день даже не попытался снять ее с камня.

А мог?

?

Я ненавижу ее, я хотел, чтоб ее не стало, чтоб ее не было. Никогда. Откуда такая ненависть?

Может быть, от ее влюбленности.

Ее спас Лев Петрович, наш завхоз, случайно проезжавший мимо на своем «УАЗике».

Произошло как, в кино – она в бурлящем потоке, болтается на камне, сил уже нет, сейчас сорвется, и тут из переулка выскакивает школьный «УАЗик». Лев Петрович высовывает голову из кабины, замечает меня, видит Перепёлкину, тормозит у моста, выскакивает из машины с канатом в руках, бежит по берегу к Перепёлкиной, и, не добежая несколько шагов, бросает конец каната к центру потока. Случай.

Случай – подсказка Бога. А что Он хотел подсказать, когда сплелось: Гера – мой сын, Перепёлкина, Бике. Бике – возлюбленная Келдышева. Что?

Гера поступил в институт, но вышел указ, высочайший указ об отмене отсрочек в армию. Пришла повестка.

Оба глаза смотрят нагло

Виснем в дыме перегара

В нашем мире наизнанку

Всё пылает, зависает.

Хапанули, записали самый чистый

Конденсат.

Я сэн сэй, я и дизайнер,

Улицам свой санитар.

И катана с порошком, и положим всех в могилу...

Потом что-то про Никотиновый приход, про

Залипаю в потолок, и

Где Вчера? И

Где Сегодня?

Нас схватить не хватит сил.

Мы вселяемся с радаром,

Растворяемся в тумане,

На башке бандана клана...

В общем, бред. Джеймс Джойс. Джеймс Джойс необразованный. Бред, но тревогу вызывает. Джойса не стал тревожить воспоминаниями, сынок все равно не в курсе, кто это такой. Хотя, надо заметить, «Братьев Карамазовых» осилил. Даже веселился в том месте, где брат Митя просит денег у госпожи Хохлаковой, а та направляет его куда-то в Сибирь на золотые прииски. Смешно, Гера смеялся.

– Гера, это стихи? – спросил я, услышав речитатив про оба глаза.

– Это рэп.

– Рэп?

– Да.

– И?

– Что и?

– Улицам санитар – это как?

– Это ассенизатор.

– М-м.

– А сэнсэй?

– Учитель.

– А бандана клана?

– Из Советского Союза не видно.

– Что? Почему из Советского Союза?

– Пап, отстань, посмотри в википедии.

Мы на даче косили траву. Это было в первый раз. И в последний.

Дачу он не любит, и не бывает там. Но тут как-то сошлось. Каприз?

Может, каприз. Словом снизошел.

Дернул шнур, мотор завелся сразу, леска скрылась в густой траве. Перед окнами вымахал в рост сумах. Дерево такое. Полудерево, полукуст. Скорее, все-таки дерево. Сумах оленерогий. Завоеватель территорий, покоритель пространств.

Головка триммера приближалась к сумаху. Я за Герой греб траву, сгребал в валки, чтоб, когда высохнет, сжечь.

Он вдруг остановился, мотор работает.

– Здесь ветки, – кричит.

Корни сумаха разрослись во все стороны и дали обильные ростки, у забора просто джунгли.

– Попробуй, – я опустил грабли, – может, возьмет.

Он попробовал, не получилось, леска не справляется.

– Поменяй на диск, – кричу я.

Он поменял.

Я в это время сгребал траву у старой груши, старался валки не уплотнять, чтоб быстрее сохли. Потом отложил грабли, стал собирать, опавшие груши, не очень крупные. А вот крупная, с кулак, созрела и упала только что. Откусил – очень вкусно.

Помню, как Гера, совсем маленький, вцепившись пальчиками, кусал мякоть, как сок тек по подбородку, как выронил грушу, удивился и заревел.

Я откусил еще и еще, искал взглядом в траве похожую, увидел чуть скошенный леской триммера бок груши, нагнулся, чтоб поднять. И только потянулся, взять не успел – крик.

Истошный крик и тупой удар – упал триммер.

Мотор молотит вхолостую.

Гера сжимает одной рукой другую и, словно демонстрируя, тянет ее вверх и в мою сторону. На той руке, которую он сжимает, что-то не так.

Пальца не хватает. Брызнула кровь.

Потом, много позже, вспоминая заросли сумаха, захлебнувшийся мотор триммера, вспоминая поиски так и не найденного пальца, с удивлением понял, нет, не понял, картин-

ка вспыхнула – он улыбался. Зажимал одну руку другой и улыбался.

Появления его на свет ждали долго. Долго-долго. Три года. Уже и смирились, «может и не надо никого». И тут – раз! Вот так да! «Три двести! Три двести!» – кричал я, перемещаясь по коридорам редакции, где работал тогда, и, казалось, вся редакция засияла от радости.

«Три двести!», – кричал я, – а начиналась как бы эпоха СМС – эпоха службы коротких сообщений.

Дорогие и любимые мои Дима и Зоя и радостный внучек Жора получила телеграмму как я рада это тебе не передать киннулась к почтальонше на шею и от радости стала плакать сама не знаю почему родился ведь четвертый внук а никем я так не была рада как этим Жориком.

Это еще не СМС. Не было пока мобильных в тех краях, не Англия, не Москва. Слова написаны шариковой ручкой.

...чего реву, радость же, а я готова бежать и кричать...

Такая метаморфоза. Полюбила Геру до исступления. Сияла. Не скрывала сияния, теребила его, купала, расчесывала. А в молодости далека была от чувствительности. Нежность – не ее стихия. Дети не умиляли. Не умилял и первенец, ра-

хитичный с торчащими волосиками. А тут – любовь до истерики. И в сиянии ее теперь и первенец, и брат первенца, и все внуки, и правнуки потом. Всем достало, даже с избытком. Геометрическая прогрессия, мама – ядерный реактор.

Как бы она посмотрела на демонстрацию руки без пальца? Или на палец в траве, если б нашли его?

Вот ее СМС. Сама набрала? Или внукам продиктовала? Похоже, сама:

*Сынчик похоронили деда Петю.
Из станицы были все Евглевские
также Люба дочь дядьки Ивана
дочь Поповых из Воронцовки
Козелько дядя Володя из Пятигорска*

Ветер первых морозов. Во дворе белье на веревке. Поднято к небу длинной жердью с гвоздем на конце. Не в силах хлопнуть парусом – заиндевело. Порывы ветра сильные – белье поднимается пластами. Поднялось горизонтально и открыло вид на верхушки холмов. Покрыты снежной порошей. Только верхушки. Нежданные, прорываются сквозь густые хлопья туч, слепящие лучи. Стихли вдруг порывы, словно кто-то рядом заслонку захлопнул – опали стальные простыни, пододеяльники, наволочки. Лучи пронзили крохотные сосульки на уголках. Радуга.

*ГОР ЗЕМ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ
С/Х КОМЕНДАТУРЕ
06
25 НОЯБРЯ 1942г.
ПТИЦЕПРОМА*

Старосте колхоза № 6

По заданию Военного командования для снабжения Германской Армии к Рождественским праздникам – Вы обязаны организовать в период с 25-го ноября по 10-е декабря с/г заготовку живых гусей и доставить их на пункт г. Пятигорска, Красная Слобода, 1-я линия, 42.

Все владельцы гусей обязаны сдать из каждых 4-х одного гуся или 25% от общего поголовья.

Все сданные гуси должны быть весом не ниже 3,5 кгр. после 5% скидки на содержание пищеварительного тракта, здоровыми, нормальной упитанности и желательнo с серым оперением.

За принятых гусей к-ра Птицепрома оплачивает по 2р.60коп. за кгр. живого веса после 5% скидки.

Списки сдатчиков гусей по В/колхозу должны быть составлены в день получения настоящего распоряжения по нижеприведенной форме и копии списка должны быть представлены в Горземуправление не позднее 27 ноября с/г. для передачи Птицепрому.

К приему гусей от сдачиков приступите немедленно по составлении списка и эту работу закончите не позднее 10-го декабря 1942г.

Все принятые гуси должны быть доставлены Вами по вышеуказанному адресу и сданы представителю к-ры Птицепрома, который и произведет оплату их стоимости по указанной выше цене.

Ответственность и контроль за выполнение настоящего распоряжения в срок возлагается лично на Вас.

с/х Комендант Начальник ГОРВЗУ

Вурчак Букич

Дед Петя – инвалид Первой Мировой – с дочкой Верой (моя мама), вернулись от старосты. Сдали двух гусей с серым оперением. Дед, стуча бадиком о мерзлую землю, распахнул калитку и вошел во двор.

Мама – нескладный подросток с длинными руками и ногами и широким лицом – не заходя в дом, принялась оттирать примерзшее к веревке белье.

Мама хорошо помнит оккупацию. За полгода «нового порядка» узнали много нового. Оказывается, казаки не русские, они из остготов и грейтунгов, почти арийцы, и короли их – это Витимир, Валамир, Видимир. Видимир почти Владимир. Не буйствовали. Расстреляли только коммунистов, не успевших скрыться. Двоих или троих.

Кроме этого, как-то станица наблюдала бой в небе над

холмом. Схлестнулись два самолета. На улицы высыпали все – дети, бабы, старики, подростки. Бой вышел коротким. Задымил наш, задымил и врезался в землю по ту сторону холма. Волна взрыва докатилась до самого дальнего переуллка.

В другой раз видела мама, как мимо крыльца протархтели две можары, запряженные быками. По два в каждой. Как-то заранее всей улице стало известно об этих повозках. Быки крупные, два по два и выше можар, головы опущены, ступают не спеша, невозмутимо, почти торжественно. За повозками следовали два охранника, впереди еще один. В повозках старухи, подростки, женщины; в остановившихся взглядах ожидание, вопрос и надежда. Можары подбрасывало на кочках, головы их подрагивали. Не переговаривались и старались не смотреть друг на друга. Все не казаки. И не русские.

ВСЕМ ЕВРЕЯМ

С целью заселения малонаселенных областей ВСЕ ЕВРЕИ, проживающие в Кисловодске и районе и те ЕВРЕИ, которые не имеют постоянного места жительства, обязаны: в среду, 9 сентября 1942 года, в 5ч. утра по берлинскому времени (в бч. по московскому времени) явиться на товарную станцию гор. Кисловодска, эшелон отходит в бч. утра (7часов по московскому времени)

Каждому еврею взять багаж, весом не более 20-ти килограмм, включая продовольственный минимум на два дня.

Дальнейшее питание будет обеспечено на станциях германскими властями.

Предлагается взять самое необходимое, как то, драгоценности, деньги, одежду, одеяла.

Каждая семья должна запечатать квартиру и к ключу прикрепить записку, в которой указать фамилии, имена, профессии и адрес членов данной семьи; ключ этот с запиской передать на товарной станции германскому командованию.

Ввиду транспортных затруднений багаж весом более 20 кгр., а также мебель не могут быть взяты. Для лучшей подготовки и отправки оставшихся вещей каждая семья должна запаковать и запечатать все имущество, белье и т.д. с точным указанием хозяина. За целостность и сохранность вещей отвечает комендатура №12.

Кто посягнет на имущество евреев, или попытается ворваться в еврейскую квартиру, будет немедленно расстрелян.

Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Не подлежат переселению семьи, у которых один из родителей еврей, а другой русский, украинец или гражданин другой национальности.

Добровольное переселение смешанных семей, метисов 1-ой и 2-ой категории может быть произведено при дальнейшей возможности.

Всем евреям надлежит выстроиться на вокзале группами в 45 – 50 человек – причем так, чтобы отдельные семьи держались вместе. Организация построения людей должна

полностью окончиться в 5 часов 45 минут по берлинскому (в 6 часов 45 мин. по московскому) времени.

Еврейский комитет отвечает за планомерное выполнение этого постановления. Евреи, которые попытаются препятствовать исполнению этого постановления, будут строжайше наказаны.

Кисловодск, 7 сентября 1942 г. Комендатура № 12

Обоз из двух повозок катил к околице. Пять... четыре... три... еще два дома, и они выедут из села, и скроются. Наконец.

Наблюдатели у своих калиток застыли в безмолвном ожидании скорейшего избавления от навалившейся тревоги и тоски, и стыдного любопытства. Стыдного, а потому: «Быстрее из села». «Скорее». «Быстрее». «Скройтесь».

Но повозки, не замедляя хода, вдруг встали, это потому что остановился бык из первой упряжки. Постоял, качнул боками и, клоня черную морду и, едва не касаясь потрескавшимися желтыми рогами земли, стал мочиться. Долгое, бесконечно долгое журчание.

Казачки у ворот одна за другой, скрылись во дворах, остались дети; остались ждать, когда закончит начатое бык и когда скроется обоз.

Мама, не вполне девушка, но уже и не ребенок, бросилась к можарам. Ей увиделось там какое-то движение, будто кто поманил ее.

Так ясно вижу, словно она ко мне бежит.

И этот пацан в смоляных кудряшках с огромными зелеными глазами на длинном вытянутом лице, этот пацан – я. Ну или Боря Келдышев.

Она подбежала, остановилась у второй повозки и протянула пацану горсть жареных семечек.

Заканчивал мочиться бык. Поддал рогом кочку, засопел, потом ковырнул еще и еще, засопел сильнее и громче.

Мама видела только лицо в кудряшках, только круглые зеленые глаза – пацан так не похож на нее, зато может быть родились в один год, а если еще и в один день.

Подросток – самый трагический возраст. Эсэмэски, полученные в это время, не удаляются никакими силами, никакими ухищрениями.

Он смотрел на нее и глаза его становились все больше и все зеленее. Губы дрогнули и невпопад с лицом попытались улыбнуться. Мама не красавица, хотя уже скоро редкий мужик не пройдет мимо, чтоб не вывернуть шеи, но сейчас – широкое лицо, нескладная фигура с худыми ногами, густая нелепая рыжая копна на голове – он улыбнулся-таки. Мама человек суровый. И всегда была такой. До самого рождения Геры. Не ласковая, и без проявления всяческих предпочтений и расположений, тут вдруг услышала в себе чуждое обжигающее волнение. Обжигающее до слез. И они, слезы, стали уже наполнять глаза.

Но тут рядом второй бык, дрогнув щетиной на спине и боках и издав глухие хрипы, пустил мощную струю.

Влага в глазах мамы осталась влагой, потоки недр иссякли разом. Глаза высохли, так и не родив слезы. Тревога? Тревога не ушла. Усилилась и продолжала расти. И обжигающее волнение невыносимо. И терпеть не доставало сил.

В Кисловодске рельсы упираются в стойку из металлических опор – железная дорога закончилась. Предыдущая остановка, если поезд не скорый, это Ветрогон.

Посмотрел в Google – ветрогон – ветреник, если человек, значит, что-то шальное и непутевое. Из других значений – какой-то король в Швеции, еще – Мирон Ветрогон – епископ Критский, Святой Чудотворец 3-го века, а еще – августовский праздник конца лета – сильные ветры возникают ниоткуда, взметают вихри из пыли и соломы и пропадают враз, в никуда.

Да, помню, столп из пыли и соломы еще стоит до неба, а вдруг тишина – ветры пропали.

Поискал на карте, нет такой станции, такого местечка. Нет. Но что карта?

Когда я впервые садился в поезд, за мной надо было еще присматривать, мама и поручила это тете Гале, проводнице. Она должна была напоить меня чаем, покормить, и в полдень следующего дня меня должен был встретить где-то в степи на далеком полустанке под названием Ветрогон, хро-

мой, старый, грустный, оставивший свое казачество дед Петя. Я не знал, какой он, дед Петя. Грустный? Или яростный?

Последнее СМС мамы.

И хромой, и грустный, и яростный.

Не меняющийся. И годы и десятилетия.

И волосы перестали расти.

Он перестал стричься, и волосы послушно перестали расти. Известно, что после смерти ногти на руках и ногах какое-то время продолжают расти, у него же, как только он забросил ножницы, не стали расти на всех пальцах, на всех, что остались. Не растут, а дед живет. Живет жадно, лихорадочно и не спеша, силы никогда не оставляли его, разве что в Первую Мировую по воле германского снаряда. Но выкарабкался. Выжил и после выстрела в упор. Из карабина сверху в грудь. Выжил. И вот:

Похоронили деда Петю... были все Евглевские, Люба, Козелько, дядя Володя...

Я только однажды встречался с ним в пору, когда он сторожил колхозную бахчу; самого деда и не помню даже, остался только запах дыни и еще помню, как...

... к шалашу на можаре, запряженной парой быков, подъехал мужик. Шалаш у лесополосы, рядом с дорогой. Мужик спрыгнул с можары, пошарил рукой у сиденья и вытащил двустволку.

Мы с дедом ели дыню. Дед, привалившись к акации, обрезал кожуру, и с ножа кусочки забрасывал в рот, я грыз уве-

систую скибу, ухватив ее обеими руками.

– Поддай-ка ружье, – тихо проговорил дед, не глядя на меня.

Я юркнул в шалаш.

Но мужик уже стоял над дедом, и я слышал, как один за другим хрустнули курки. У меня взмокли виски. Далеко-далеко натужно и без перерыва заголосил ишак.

– Вставай Петюня, – мужик взмахнул ружьем, – вставай паскудник... нож оставь... оставь нож, козел!

Дед сел в можару, мужик пошел рядом, а я долго смотрел им вслед. Медленно топали быки, гремели разошедшиеся деревянные колеса, пыль, тяжелая от утренней влаги, поднималась неторопливо и невысоко.

Сразу за бахчой в яру между двух холмов доживал свой век деревянный артезиан. Лошадь ходила по кругу, вертела огромный барабан, и вода из черной, бесконечно глубокой скважины понималась к желобкам и оттуда лилась в корыта.

Дед был голый. Одежда в беспорядке валялась у корыт – рубашка, штаны, кальсоны, поношенные парусиновые туфли. Сам он, густо заросший седеющими волосами на красноватой коже, вертелся на деревянном барабане, крепко прикрученный к нему толстым шпагатом.

Когда дед услышал, как я подошел, он повел острой скулой в сторону раз и другой, и зарычал...

Я сглатываю слюну, не мигая, смотрю на его густые седые волосы и не могу двигаться.

Дед закричал громче, но я не мог разобрать слов.

Вода выталкивалась из-под земли, падала в желобок, оттуда в корыта и корыта уже переполнены, и вода выплескивается на землю. Лошадь с одним вытекшим глазом тупо переставляла ноги, крутила барабан вместе с дедом, и рев уносился в сторону, становился глуше, а я стал, как куст, как двухметровая колючка-татарник с пышными цветами; а дед выкрикивал слова, вот они опять громче и громче, и дед виден, потный и рыже-седой, но понять его я не смог бы, не будь я даже развесистой колючкой.

Так я и стоял, а дед вертелся на барабане и рычал.

Из-за бугра показались овцы. Головы тряслись от натужного бега, они сопели, пылили копытцами и несли острый, сбивающий с ног, запах; морды в пыли, ноздри в засохших и пенистых соплях.

Сначала по две, по три, а потом тучей облепили корыта. Толкаясь, наваливаясь друг на друга, залезая в корыта, жадно и не отрываясь, тянули в себя прозрачную, прохладную и солоноватую воду.

Я старался не смотреть на деревянный барабан, ноги у меня не гнулись, я ждал чабана.

Он, подремывая, подъехал тихо на белом молодом жеребце.

Конь ткнулся губами в корыто, чабан открыл глаз.

Дед молчал уже, волосы слиплись от пота, взгляд пустой, невидящий. Чабан спрыгнул на землю, разнуздал жеребца и

тот опять потянулся к воде, чабан подставил пригоршню под желобок, плеснул воду себе в лицо, поднял голову, увидел деда, распрямился, гикнул и захохотал. Дико, прерывисто, топая ногой и хлопая себя по ляжкам.

Я заплакал и упал в пыль.

Овцы, напившись, не отходя, валились у воды, сопели и закрывали глаза.

– Что Петюня, попал, шакал! Слава Аллаху! А-а-а, кобель... а-а-а шакал, – чабан смеялся, и лицо его становилось похожим на лицо младенца.

Дед вертелся на барабане и молчал. В следах от шпагата на руках и ногах все больше проступал синий оттенок.

Чабан хохотал, всхлипывая.

Я схватил камень и запустил в чабана, камень попал в голову.

– Ах, ты сучонок!

Он, сильный и черный, схватил меня, стукнул по затылку, и стал окунать в мутное корыто; сильный овечий запах туманил голову...

Очнулся я голый, привязанный к вертящемуся барабану, рядом с дедом.

Я не плакал, не рычал и дед.

А когда солнце уже опускалось за холм, вдаль показался трактор с телегой – бабы возвращались с тока.

Я шевельнул губами, напрягся, чтоб крикнуть, позвать, и только тут в первый раз понял слова деда, хоть и это было

рычание:

– Не ори, сынок, молчи.

Солнце село, ушли тени, но еще светло. В зыбком мареве надсадный скрип барабана слышится громче, невыносимей. Выскочили из зарослей полыни два тушканчика, попрыгали к корытам, быстро-быстро повертели головами.

Встала одноглазая лошадь.

Заскрипело на бугре – возвращался мужик на можаре.

Первым его заметил дед, хрипло вздохнул, повел подбродком.

Мужик соскочил с можары, подвел быков к воде, грустно посмотрел на меня, присел на корыто, закурил.

Я тяжело задышал ртом.

Дед поднял голову, разлепил губы.

– Неси иго в юности своей, молчи уединенно, ибо Он положил иго твое на тебя, полагай уста твои в прах, помышляя: «может быть еще есть надежда», подставляй ланиту биющему тебя, пресыщайся поношением, ибо Он, Господь, не на век оставляет.

– А-а-а! – подал голос мужик. – Пиздеть-то ты и прежде был горазд. За то и висли на тебя. Ни одной не пропустил, никого не пожалел, – он склонил голову, вновь закурил, и, остывая, пробормотал, – козел ты Петя.

Деда оставляли силы, в голове мутилось, из глаз закапали слезы, может, уходила из него последняя ярость. Может, он каялся. Плакал беззвучно. У меня больно саднило грудь и

руки.

Мужик курил, щурился от дыма и крякал.

Сейчас понятно, почему крякал мужик и почему плакал дед.

Двадцать лет в начале жизни представляются чем-то бесконечным, невысказанным. А они – дед, мужик – перешагивают за прожитые двадцать лет через один толчок крови, через один удар сердца.

Мужик глубоко затянулся, оторвал зубами изжеванный конец папиросы, воткнул чистый окурочек деду в зубы, дед жадно втянул в себя дым.

Темнеет в степи быстро...

Сорок третий год начинается мокрым снегом, слякотью, порывистыми ветрами. Немцы оставили станицу, и она словно вымерла. Не слышно коров, собак. Издали вдруг подавал голос одичавший, изголодавшийся табун, лошади заходили и в станицу, но ненадолго.

Жутко и зябко на улицах, пусто.

А ожило все враз и вдруг: высывались из-за забора головы, приоткрывались калитки, стайками устремлялись на главную улицу пацаны... мокрые и унылые входили казаки, несли с собой запах гари, дыма, гниющих ран. Чавкала, хлопала грязь под копытами понурых лошадечек, отлетала ошметками из-под колес скрипучих телег. Непривычно чернели на казачьих мундирах чужие свастики, казаки прикрыва-

ли отход немцев.

Вечерело.

Дед под навесом доил корову, пес лежал рядом и с тоской поглядывал на островки грязно-белой кашицы, на мутно-коричневые лужи у самого навеса.

Неожиданно и скрипуче распахнулась калитка.

– Эй, кто есть? – казак не спеша входил во двор, лошадь оставил за воротами.

Дед не успел подняться, как пес сорвался с места и, гремя цепью по проволоке, бросился навстречу гостю, тот сорвал с плеча карабин... Во двор входили еще двое казаков и женщина...

Дед, прихрамывая, метнулся к воротам, схватил цепь и потащил пса к будке, но тот успел-таки цапнуть казака за голенище, и казак, клацнув затвором, выстрелил один и второй раз по псу... Не попал...

Пес прыгал, рвался, дед, молча, стоял у будки и держал цепь, пес метался.

Казаки у ворот захохотали:

– Ну, Митрий, ну, атаман... тебе патронов подбросить?

Митрий зло выругался, поминая и мать, и бога, и душу. Выстрелил еще раз, пес продолжал метаться. Дед молчал.

– Карабин! Дайте карабин! – заорал Митрий, он дергал свой затвор, но тот не шел – заклинило, а казаки посмеивались, не спешили. Вдруг женщина, выхватив карабин у одного из казаков и оттолкнув его, не целясь, с маху выстрелила

по псу раз и второй. Вторая пуля попала в голову, а перед тем пес, метнувшись в сторону, опрокинул ведро с молоком, пеннистое и теплое полилось оно в заснеженные навозные лужи.

Дед, прикрывая надолго глаза, вязал зачем-то цепь с убитым псом к крючку у навеса.

Женщина опустила карабин.

Митрий подошел к деду, узнал.

– Га, есаул, ты? Петр Ерофеич? Корову доишь! Вот так-так! Не вижу, чтоб ты собирался. Га?! Или как?

– Так. Сапоги я шью. А ты че, пришел собаку мою убить?

– Ладно, поговорим. Открывай ворота. Заночуем у тебя.

– Ночуй, только тиф в доме, жена и сын третью неделю лежат.

Митрий ткнулся в дом и скоро вышел:

– Открывай, открывай, сапожник. Кой черт мне твой тиф... но однако, чтоб не высовывались из своего угла, понял?!

В доме дед засветил фитилек на масле, собрал на стол; жена и сын тихо лежали на печи за занавеской.

– Что ж ты, Георгиевский кавалер, забыл про свои хутора и конюшни, сапоги шьешь. На вот подлатай, – Митрий бросил деду свой сапог с разодранным голенищем и следом стоптанные женские сапожки.

Присел к столу отломил кусок хлеба.

– Не пойму тебя, Петр Ерофеич, выделили взамен халупу, в твоём доме сельсовет разместили, власть свою поста-

вили. М-м? И ты их сапожками обшиваешь, немцы пришли и немцам шил.

Дед налаживал сапожную лапу, молчал.

– А щас возвернутся, опять примешься обшивать гадов? Га? – Митрий стукнул кулаком по столу, подскочил фитилек в плошке, запрыгали тени по потолку.

Дед встал, прошел в соседнюю комнату, засветил там фитилек и принялся стелить постель.

Женщина и Митрий переглянулись, женщина опустила голову, перестала есть.

– Ты, есаул, стели нам отдельно, – Митрий хлебнул квасу из кринки, усмехнулся, кивнул в сторону казаков:

– А этих двоих хоть рядом с собой положи.

Вскоре дом затих. Не спали, может быть, моя бабка, жена деда, да сам дед, придвинув фитилек поближе к сапожной лапе, орудовал шилом, дратвой, иглой.

Ближе к утру из соседней комнаты, раздвинув занавески, вышел Митрий, скосил глаз на деда, ничего не сказал, вышел в сени, скрипнул дверью во двор, а потом долго и шумно мочился прямо с порога.

Когда вернулся, долго ворочался на своей кровати, сопел, потом поднялся, постоял... И дед, опустив руки, видел, как Митрий, осторожно ступая, похрустывая суставами, пробрался к постели женщины.

Дед заканчивал латать последний сапог, склонился, засунул руку вовнутрь, погладил короткое голенище, потом на-

садил на лапу и занялся каблучком. Услышал возню, тяжелые вздохи, грохот, и громкий шепот:

– До венца не будет ничего, Митя. Не будет.

Митрий закурил. А дед, покончив с каблучком и притушив пальцами фитилек, прилег на скамейку у печи. Вера, моя мама, свернувшись клубочком, спала рядом на полу, на овечьем полушубке.

Светало.

Вскоре в окно с улицы постучали.

– Подъем! – звякнула уздечка – дневальный поскакал к следующему дому.

Казачи собралась быстро. Дед тихо сидел на скамейке. Женщина обула сапоги и, не взглянув на деда, вышла из хаты, следом казак, за ним Митрий. Со двора заорал:

– Есаул, ворота отворяй!

Второй казак задержался в доме. Застегивался, оправлял ремень, пил квас, острый кадык перекатывался вверх-вниз, вверх- вниз; перевел дух, закивал деду:

– И-и-и, куда собираться? Куда едем, кто нас ждет? И дома не останешься! Кровушки полито, и-и-и... Вы то, Петр Ерофеич, не собираетесь никуда, и правильно, чего вам...

Дед раскрыл ворота, постояльцы тронулись со двора. У будки лежал пес с пробитой головой, рядом шумно жевала корова.

Дед задвинул засов на воротах, открыл калитку, вышел на улицу, долго смотрел вслед казакам. Небо очистилось, под-

морозило. Стих ветер.

Не успел дед ступить во двор, как прискакала женщина, коня оставила на улице, забежала в дом, дед похромал за ней.

Женщина лихорадочно рылась в постели; сначала в своей, потом соседней, где спал Митрий.

– Узелок, маленький, в синей тряпице? Где?

– Щас. Идем ка, – дед повел скулой в сторону.

Женщина пошла за дедом.

А во дворе он заломил ей руки и потащил в баню. Там в предбаннике ссыпан горох, в початках лежала кукуруза. Дед дышал горячо и часто. Женщина не кричала. Вскрикнула только один раз, но не горько и не отчаянно, а как-то полно и глухо.

Скоро из бани вышел дед, хотел закрыть на крючок дверь предбанника, но передумал.

Взял под уздцы лошадь, провел ее через двор на гумно, стал привязывать к дереву и услышал шум во дворе – трещала калитка, зло матерился Митрий, во двор влетел на коне, калитка слетела с петель.

– Где Анна? Где Анна?

Дед пожал плечами:

– Какая еще тебе Анна, ты что?

– Она сказала, что забыла у тебя узелок с карточками. Где она?

Дед развел руками. Отвернулся

Анна поднялась с гороха, осторожно ступила к двери,

привалилась к притолоке и, затаив дыхание, припала к щели.

Из-за Узловки слышался гул моторов и почти сразу лязг гусениц.

Анна старалась дышать тихо.

Митрий услышал шум.

– А-а-а, подыхай, сволочь, – сорвал с плеча карабин и почти в упор выстрелил в деда. Конь под ним захрапел, вздыбился, Митрий рванул поводья, крутнулся и с места взял в галоп.

Дед медленно оседал на бок.

В доме на печи закричала бабка, следом закричала мама и подхватила из хаты, «папка, папка»...

...а ее, моей мамы, суженый, ее первый мужчина, которого она так и не смогла полюбить, он в этот миг скакал где-то по немецким тылам... скакал, настигал, догонял солдата и рассекал бегущего шашкой наискось от плеча до плеча и тот обрубком еще долго по инерции бежал, бежал, бежал...

– Папка, папка, – кричала Вера, выскакивая во двор.

Дед задышался, что-то бормотал.

Мама сумела дотащить его до двери и потом в сени.

Дед тяжело дышал.

Прошло двадцать лет.

На холмы опускалась ночь. Уже в темноте, когда особенно слышен одуряющий запах амброзии, когда замерцали первые звезды, мужик стал отвязывать деда; дед упал бы, но му-

жик поддержал его, поставил на ноги, подвел к можаре и усадил на нее.

Отвязал и меня, помог сойти.

Я окунул голову в корыто с водой и поднял ружье, я увидел его под корытом.

Дед на можаре распрямил спину, покачал головой.

– Оставь, опусти ружье, сынок. Это же не Митрий. Посмотри, какой он молодой. А Митрий и тогда был старше меня, это другой, опусти ружье, не надо в него стрелять.

Я опустил ружье.

Лошадь у барабана стояла и, вывернув голову, наблюдала за нами своим единственным глазом, а когда я опустил ружье, она вдруг вздрогнула всей кожей, качнула головой и тронулась по кругу.

Скоро уже вода толчками плюхалась в корыта.

Ветер первых морозов. Заиндевелое белье на веревках. Удерживается жердью с гвоздем. У дяди Гриши фамилия Жерделев. Белье не в силах хлопать парусом, верхушки холмов присыпаны крупитчатым снегом, и гвоздь, и жердь те же, и слепящие лучи прорываются сквозь несущиеся хлопья туч, пронзают крохотные сосульки на уголках наволочек, и сосульки искрятся радужно.

Восторг захлестывает, восторг и радость, и хочется кричать: «а-а-а-а».

Или запеть:

Солнышко светит ясное,

Здравствуй страна прекрасная...

В мире нет другой,

Родины такой...

Синий свет до самого Эльбруса сдерживается лохмотьями туч, тучи несутся, и свет то иссиние-серый, то серый, то серый с синим... но вдруг вершины высвечиваются оторвавшимся от солнца лучом и снежные лапы на макушках сияют ослепительно всему предгорью, всем холмистым степям. Мы видим Эльбрус. Он горбатый.

И холод, и свет, и первые морозы, и порывы ветра – время дяди Гриши. До самого Рождества. Гусей под Рождество резала сама мама, но когда требовалось зарезать теленка, овцу или свинью, тут равных ему не было. Отец не резал. Никогда. Уклонялся. Правда, никто особенно и не настаивал. Не было такого, чтобы мама упрекала, «ты, мужик, казак, до Венгрии в 45-ом доскачал, а тут соседа зови», нет, не было. Дядя Гриша жил напротив, тоже воевал, тоже буйный, весь в медалях и ранениях, и склонный к мудрствованию. Философ и лучший мастер по убою. Так считалось, пока не случился конфуз в один из особенно ясных и не слишком морозных дней.

Двойную петлю из темно-фиолетового шпагата отец сам довольно ловко набросил на заднюю ногу свиньи, затянул и скоро вылез из свинарника. Дядя Григорий тут же, одним

движением, намотав на пальцы шпагат, дернул рукой в сторону, отец ухватился за конец шпагата, и они вместе потянули свинью.

Свинья завизжала, пронзительно на весь поселок.

Я принес из дому старые одеяла, тряпки, брезент, сложил все у входа в катух, рядом с акацией и горой соломы. Пытаюсь перекрыть визг, позвал отца:

– Дима, Джим... – это он мне.

Я распахнул калитку, подошел к ним.

– Залазь, посмотри, не идет что-то, – прокричал отец, указывая головой на визжащую дыру-дверь.

Я залез в свинарник – передняя нога свиньи провалилась между досками. Я потащил ее, нога согнулась, подломилась, что-то хрустнуло и, наконец, я выдернул ее – копытце сломано и висит, белеет обнаженный мосол, но тут же нога дернулась и погрузилась в темную соломенную подстилку.

Свинья визжала, упиралась, била ногами... дядя Григорий и отец налегали на веревку, тела их наклонялись то назад, то, с громким «гаа-а», вперед...

Наконец, показалось копыто, стянутое шпагатом, потом вся нога, еще усилие и туша гулко шмякнулась на землю, свинья умолкла на миг... И уже не успела завизжать вновь... Дядя Григорий выхватил из-за пояса длинный узкий нож, коротко дернул плечом, и лезвие мягко вошло в серую, с налипшей соломой щетину.

Свинья захрипела... забулькала.

Пошел мелкий, в крупинку, снег. А на акации рядом с калиткой не опали еще жухлые листья кирпично-грязно-зеленого цвета и на них сыпал снег.

Свинью вытащили из катуха.

Мама принесла два ведра горячей воды, поставила рядом с брезентом и тряпьем. Достала из телогрейки три ножа, бросила на брезент.

Свинью подтащили к куче соломы, отец освободил ее ногу от шпагата.

Дядя Григорий закурил, взял вилы... Дым от папиросы мешался с редкими снежинками...

Дядя Григорий вздохнул:

– Э-э-э, и что за зима нынче... Помню, по молодости, в эти времена – снегу по пояс! А? Трофим!

Отец подкладывал под бока свиньи красные кирпичи, для устойчивости, чтоб не валилась.

– Да ты че, Григорий, ты где жил-то по молодости? Забыл?.. Откуда у нас снегу по пояс?

– А-а-а... – дядя Григорий недовольно сплюнул, поддел вилами солому, принялся обкладывать со всех сторон притихшую свинью.

Мама принесла паяльную лампу, ведро с бензином, оставила все рядом с брезентом, пошла к дому.

Дядя Григорий протянул мне спички:

– Ну, пали, казак.

Вздохнул:

– Нет, Трофим, надо было дожждаться хороших морозов. Ну, ты посмотри, это снег, что ль? Манная каша! Бывает разве такой снег?

Я чиркнул спичкой – язычок обнял сразу две соломинки, спрятался вглубь и... поднялся светлой дымной стружкой.

Отец специальной иглой с длинной плоской ручкой прочищал паяльную лампу, тихо бормотал:

– Снег и снег, поначалу всегда такой, крупинками сыпет.

Разгорелось густое пламя, повалил клубами белый дым, полетел облаком в сторону домов, в сторону улицы, единственной улицы во всей бескрайней степи.

У свиного костра собирались дети. После того как соломой, потом паяльной лампой осмолят свинью, отец отрежет хвост, почистит его и, порезав, каждому даст по кусочку. Дети ждали.

Пламя охватило всю солому, загудело, потрескивая.

Дети переговаривались шепотом, замороженные пламенем.

Дядя Григорий большим круглым точилом с отбитым краем точил принесенные мамой ножи.

Я тыкал в пламя хворостиной.

Отец из ведра через воронку заливал бензин в паяльную лампу.

Поодаль от костра сидел крупный черный пес, редко хлопал хвостом по припорошенной снегом земле... и вдруг взвизгнул, шуганул в сторону, будто снесенный вихрем.

Из костра выскочила свинья, на рыле тлеет пучок соломы, а сама вся в огне.

Дети смолкли, дядя Григорий выпрямился, застыл.

Свинья в огне скакнула в сторону детей, сбила с ног девочку.

Полетели искры.

Беззвучно, толкаясь, и, налетая друг на друга, побежали дети.

Комочком на земле осталась лежать девочка, под боком у нее – клоч соломенного жара, подернутого сверху белым пеплом.

Гудела синим пламенем паяльная лампа... и... вспыхнул бензин... вспыхнули руки отца.

Бежала из дому мама.

Схватила ведро с горячей водой и плеснула кипятком на отца, пламя на руках сбила, но огонь перекинулся на штаны...

Поднялась с земли девочка, лицо разбито и налипли снежные крупинки, они таяли от теплой и темной крови; девочка поднялась, не издав ни звука, постояла и вновь упала.

Бежала свинья по улице, она уже не в огне, а только в черной обгорелой щетине... За свиньей гнался дядя Григорий.

Мама схватила девочку на руки и замешкалась, не зная, что делать.

Отец с горящими штанами подхватил брезент, стал кутать им ноги, запутался и завалился на спину, широко раскинув руки. Руки красные-красные в белых пухлых волдырях, и

волдыри полопались от удара о землю, и нет ногтей на пальцах – выпали. . .

Где-то в центре улицы, напротив конторы, свинья, будто ткнувшись в стену, упала рылом в землю, да так и замерла.

Подбежал дядя Григорий.

Из конторы, без телогрейки, пиджака, с авторучкой в руке вышел главбух и с поднятой рукой и ручкой оторопело уставился на свинью.

Главбуху захотелось закричать, заорать, заголосить. Потому что нахлынуло – пороша, свинья, солнце, Эльбрус.

Рядом рябая курица клевала крупинки снега, думая, наверное, что это просо.

Улица пустынна и летел снег.

У меня намокли штаны. . . теплая лужа съедала белые мелкие крупинки у моих ног.

Почему оно (СМС) всплыло сразу после свиньи?

Всплыло.

Ничего объяснить и понять невозможно.

Порывы души?

А откуда они берутся?

А куда уходят?

Только бы справиться.

Может быть, эта свинья что-то объясняет. Боря Келдышев как-то, еще до побития моей морды, сильно оскорбился мо-

им высокомерием, я, шутя, сынком его назвал. Почти год избегал меня, демонстративно не отвечал ни на какие мои призывы. Со временем улеглось.

– Ладно, ладно, прощаю тебя.

– Я ж не намеренно, Боря, не думал я...

– Ну, да, зачем думать? Тонну книг прочитал, там все за тебя продумали.

– Да, пожалуй, – я усмехнулся.

– Вот тебе, пожалуй. А когда сам думать начнешь, Евглевский?

– Боря, не начинай. Попросил же прощения.

Я плеснул в стаканы виски местного разлива.

Он выпил, и, жмурясь от тепла в груди, сладостно складывая губы трубочкой, длинно выдохнул; поставил стакан, и вдруг, с подчеркнута театральным пафосом, как с трибуны комсомольского собрания, изрек:

– В той мере, в какой законы математики соотносятся с реальностью, они не верны; а в той мере, в какой они верны, они не соотносятся с реальностью.

Я не успел донести стакан до рта, замер.

– Законы математики?

Мудрствование не в характере Бори. Нет. Это как то, что Гера схватил винтовку с оптическим прицелом. Абсурд. Схватил винтовку и стал... Стал кумиром города. Это очевидно. С винтовкой и без пальца.

Мы с Борей год не виделись, он изменился. Стал другой.

Или позволил увидеть себя другим. А может быть, весь год книжки читал. Добрался до Эйнштейна.

Умирает мама. Со дня на день случится.

СМС от брата.

Вспомнил снег крупинками, свинью у конторы, и тут же пришло СМС от брата. Но, может быть, и в другом порядке – сначала свинья, а потом СМС. Да, пожалуй, что так. Точно так. Но, впрочем, какая разница.

Они лежали в большой комнате большого дома, в пригороде Пятигорска. Брат забрал их к себе, а присматривала Нина, его жена. Комната большая, но кровати рядом, можно присесть в ногах и говорить и с отцом и с мамой. Отцу за девяносто, маме за восемьдесят. Поймал себя на мысли – отец за компанию прилег. Или устал. Вообще-то, крепкий, как дед Петя, сухой и неутомимый, но лежал рядом, протяни руку, и вот тебе рука мамы. Только мама не подавала руки. Мама заметно угасала. Боли желудка множились душевными. Справлялась стойко. Когда возможно было терпеть, читала Библию. Вслух.

– Не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех...

Опустила книгу на грудь, посмотрела на отца, тот слушал.

– И что? – спросил.

– А человек-то не знает своего времени.

– Человек может и не знает. Только тут не про тебя. Я – человек. А ты всегда все по-своему норовишь. Вертихвостка.

Мать не ответила.

Молчали.

– Манюня, – подал голос отец.

Мать повернула голову.

– Что?

– Манюня!

– Что?

– Помнишь, – он помолчал, – помнишь, тогда, Джиму лет пять было. Ну да, младший еще не родился, значит, Джиму пять не больше.

– И что?

– После Нового года... Сразу после Нового года я набросился на тебя, хотел побить, а ты под кровать юркнула. И сидела там. А я швырнул в тебя валиком с дивана. Потом вышел во двор и закурил.

– Это, когда потом вскорости вернулся, сунул голову под кровать и запричитал?

– Ну да, запричитал. Наклонился, увидел тебя в углу комочком, сердце загорелось, так жалко тебя стало, ты ж моя огонек, я и позвал. Как-то... Когда сердце вспыхнуло, слов-

но не я был, когда набросился на тебя. Будто кто-то другой загнал тебя под кровать, или ты сама, может; я и запричитал – маленькая моя, ты зачем туда забралась? Выходи, вылазь, манюнечка! Помнишь?

– Помню. Трезвый же был, а сопли пустил. Обмусолил всю.

– Мне показалось тогда, что ты заулыбалась. И вообще. Арбуз соленый потом достали. Сейчас перестали солить. А? Нина, – позвал, – Нина!

Вошла Нина.

– Нина, мать хочет соленого арбуза. У вас же нет. Поспроси у сестер, может кто солил.

– Да, па, Тамара солила, сейчас принесу. Только маме соленый арбуз не стоило бы.

– Принеси, Нина, я маленький кусочек. Маленький. А как ты понял, что я арбуз соленый хочу?

– Вспомнил и понял.

Тихо лежали. Ждали.

Где-то на окраине поселка кто-то стал заводить трактор. Трактор из прошлого века – «Беларусь». С пускатём, который долго оглушительно стрелял, потом заглох, и потом вновь стрельнул, застрекотал, и запустил двигатель. Двигатель заурчал надсадно, на одной ноте, казалось, сдохнет, но нет – громче, громче и взвыл, наконец. А как только набрал обороты, трактора и вовсе не стало слышно.

Отец усмехнулся.

– Сенька Шевяк! Фермер! Новый же трактор купил! Бережет. Новый на приколе стоит, ржавеет, а заводит МТЗ – 50. Я еще на таком гонял, но даже в те годы у меня стартер стоял. А Сеня пускач поставил. Такой жук! Экономит! Пускач этот сам собрал, лишь бы не покупать.

– И экономит, и что можно самому, сам делает, не чета непутевым.

– Путевые! У-у-у! Да я, если б только... кто-то потише да поласковей, я б может, ни ногой, никогда, кохалась бы, бабочкой бы без хлопот-забот.

– Конечно, бабочкой. Напорхалась! Алкаш. Что я от тебя видела, ты, когда отары на зимовки гонял, что обещал? Говорил...

– А вот тут бы, лучше помолчала бы, и про зимовку, и про Новый год, и про «Самое синее в мире...»

– Давай, давай. Распался. Может, опять под кровать загонишь?

Отец уперся локтем в подушку, приподнялся решительно, словно собираясь с силами и пытаясь понять, сколько их еще у него, скользнул взглядом по изможденному ее лицу.

Вошла Нина, арбуз принесла

– Вот! Ха-ро-ши-й! Сразу видно.

Поставила поднос с соленым арбузом на тумбочку, разре-зала, кусочек подала маме.

Мама откусила, и боли оставили ее. Засветились глаза.

Отец взял скибу, призадумался.

– Нина, ну а по такому случаю!? Давненко... С тех самых пор не доводилось лакомиться...

Нина принесла наполненную до краев рюмку.

Отец выпил, выдохнул, чуть разжав губы, и принялся за арбуз.

Нина вышла.

– С каких это «тех самых пор»? – голос мамы заметно набирал твердость, словно она возвращалась откуда-то издалека, может даже оттуда, где и бывать не доводилось.

– А с тех самых, как пропал этот твой в тельняшке. Гармонист.

– Иван Алексеич? Чё ты говоришь, мой, сам его к нам в дом притащил. А хорошо играл! Задушевно. Никто так не мог. «Черное море мое».

– Море. Да, да. Моряк засратый, только с берега его и видел. В береговой охране служил. Тельняшку напялил. Моряк! Перед смертью во всем признался.

– Ты чё, хоронил его?

Отец не отвечал.

– Пропал Иван Алексеич и аккордеон пропал. Не нашли. А? Почему ты говоришь, что умер?

– Куда ему деваться? – отец поднял голову, позвал, – Нина.

Вошла Нина.

– Нина, принеси еще.

Та посмотрела на маму.

– Принеси ему. Пусть... – мама почувствовала что-то. В голосе отца слышалась тоска и... в конце концов Ивана Алексеича он видел последним. Столько лет молчал, уж там и косточки истлели.

Нина принесла еще рюмку и вышла.

Отец выпил, закусил арбузом, положил корочку на поднос, прикрыл глаза.

– Может ты его убил? А?

– Не ори.

Вошла Нина.

– Мам?

– Ничего Нина, ничего. Славка не приехал?

– Нет, завтра вернется.

– Завтра? Хорошо. А Жорик?

– Жора живой, мама. Слышала, возвращаться собирается, навоевался.

– Да? Хорошо, Нина.

Нина вышла.

– Тебе зачем Славка, манюня?

– Подумала, может, внуку расскажешь.

– Что? Что ему можно рассказать? Сами все знают.

– А куда упрятал Ивана Алексеича, поди ж не знают. Никто ж не знает. Никаких следов. Ни живого, ни мертвого.

– А что его сильно искали? – отец скривил губы в улыбку. – Мне уже первого января все стало известно.

– Первого января? Что тебе стало известно? Кто ж такой

этот известитель? Откуда узнал?

– Сорока на хвосте принесла, устроили бой быков. Позорище! А Джима за что побила? А? За что, спрашиваю?

– Как за что? Он кинопроектор запустил.

– И за это лупить? Шалава! Никогда не любила его. В пять лет, в мороз за сеном. Много он унесет!

– Много не много, а все ж охапка, – помолчала, – Да, – и с горечью, уходя в себя:

– Как вспомню! Из скирды сама крючком дергаю, а он ручонками – тащит, тащит. Зима к концу, сено слежалось, дергаешь, дергаешь его. А ты, родненький Трофимушка, завьешься – и-и-и... И месяц, и два, и по пол года... Где тебя носит? А к концу зимы корову кормить нечем. Сидел бы дома, не пришлось бы по ночам сено таскать с кошары. Что ты есть, что тебя нет. Мужик!

– А больше ничего не помнишь? Сколько привозил? Не помнишь? И «Ирбит» с коляской, потом «Победа», это как? А у кого первый цветной телевизор? Управляющий собирался только, у главбуха не было, а я привез, подключил, вся улица сбежалась. А?

– Телевизор? М-м-м... А пропивал сколько? Два месяца телевизор без тебя смотрели, гуляешь два месяца. И больше бывало. Кобель.

– Ты-то уж помолчи... А Ваньку твоего не убивал я. Так прищучил. Может, он и по сю пору живой.

– Правда? Хорошо бы, тебе ж человека убить...

– Не убивал, говорю тебе, и вообще никого... ну на войне, понятно, – помолчал и продолжил:

– Не первого января, нет, дней через пять после побоища в клубе все в картинках расписали. Кстати, чем закончилось?

– Что закончилось?

– Кто кому наkostenял?

– Иван, конечно. Молодой. Еле спасли Гришку.

– И ты тут же к победителю подол задирать.

– Дурак ты Трофим. А что там у тебя через пять дней случилось?

– Ты не дура, конечно.

– Так что?

– Приехал ко мне на зимовку Заир, бочку с водой привез. И рассказал. Все поняли, что из-за тебя подрались. Заира помнишь?

– Помню, вы с ним отары в район перегоняли, на мясокомбинат.

– И перегоняли, и недогоняли. Кунаки. Уважал он меня. Обидно ему стало. Как можно, говорит, Трофим Палыч? Ты такой мужик! А они шакалы. У тебя – медаль «За отвагу». А они объедки. У них есть медаль «За отвагу»? Я Заиру – У Гришки даже орден, а Ванька молодой, он-то и затеял кипишь, значок у него только гвардейский, да тельняшка, моряк сухопутный. Поговорили так с Заиром, а через неделю, когда бочки менял, привез он и Ваньку твоего.

– А-а-а! Справились вдвоем! – мама аж всхлипнула.

– Жалко стало? Шалава! Говорю тебе, пальцем не тронули. Но он уссался, моряк твой. Поначалу хорохорился. «Видал я таких!» И прочее, разное. Чечетку отбил. Кстати, мне понравилась чечетка, молодец, танцор. Но тут Заир закипел. Выскакивает из-за стола и за дверь. Затаскивает в вагончик барана. Глаза сверкают, смотри, кричит, смотри, моряк, что ждет тебя в степи. За рог поднял барана и ножом по горлу вжик, кровь как брызнет в морду Ваньке. Тот и уссался. Хорош был Заир. Хорош! Зубы оскалил и молчит. А и любил он меня. И мне с ним всегда покойно было, хоть он мне в сыновья годился, а чувство, будто он старший брат. Бывает же. Повидаться б. Умру ж вот-вот.

– Повидайся. Славку попроси, найдет тебе Заира. В Левокумке он, я слышала, пять детей у него и все дочери. Ты сказал, отары с ним гоняли и до района, говоришь, не догоняли...

– Бизнес. Сейчас так назвать можно, а тогда – «хищение в особо крупных». Мы сами себе премию определяли, а на ту, что по итогам года получали, хватало, разве что, на леденцы, да на халву манюне. Когда генсеку доложили, сколько платят крестьянам, он подумал, подумал и ответил, да, мол, не густо, но у них же огороды и прочее, да и у государства что-то стырят.

– Так и сказал, «стырят»?

– Конечно, так и сказал.

Помолчали, погружаясь каждый в свои страхи.

– Помнишь, – заговорила мама, – помнишь, судили меня? А, не помнишь ни черта, не было тебя в тот раз. Где-то носило. Да. Мне дали условно два года, спрашивает судья, или кто он там, вы, говорит, раньше... приходилось вам раньше воровать? А я говорю, да всегда приходилось, всю жизнь. А адвокат меня в бок, «тю, дура, молчи». Я замолчала. Они будто не слышали, но дали два года. Условно. Зачли медаль «За освоение целины», грамоты, благодарности, ходатайства. Хм, после войны сразу не платили совсем, палочки ставили – трудодни, а я рано лифчик носить стала, так туда с тока насыплю пшеницы, домой принесу, высыплю на стол – во радости. Так и выжили. Не все выжили, младшенькая все ж умерла. Помню, такие урожаи, столько пшеницы, столько зерна, ток ломится, а к концу зимы – голод.

– Ты рассказывала. Это до войны, Рая сестра твоя умерла до войны, пол села вымерло тогда. Потому столько казаков у немцев воевали.

– А ты нет.

– Я нет. Я в Красной армии.

– А я тебя не помню до войны. Совсем. Что в Красной армии, знаю. А мог бы к немцам попасть?

– Мог, не мог, че пристала? В плен разве, что! Но и в плен никак! Нас в плен не брали, казаков расстреливали сразу.

– Вспомнила сейчас, как казаки нашего Шарика застрелили, переночевали и майнули со двора, девка еще с ними

была, отец им всю ночь сапоги латал, главный их все пытался дожать отца, че ты, мол большевичкам служил, а отец помалкивал. Контуженый был. Главное, одеты как казаки, а на рукавах нашивки немецкие. Утром выехали со двора, тишина такая – наши на подходе; и тут сразу – гул такой с окраины, а тот главный прискакал назад и из карабина в отца в упор. И ускакал. Как не убил? Чудо. Пуля насквозь прошла, отец сто лет прожил. Даже больше. Бахчи сторожил. И Джим с ним.

– Да, да, знаю эту историю. На Ветрогоне, привязанные к барабану, целый день крутились. Додуматься ж! Как барашки на вертеле. Дед-то ладно, за дело. Понятно, сначала с Тайкой, а как дочка подросла и с дочкой, забыл как ее...

– Аська. Сама на каждом углу трещала, что замуж за него идет, что мол, мужик он еще хоть куда. Аська, ты ж знал ее. Как он не застрелил деда?

– Кто?

– Отец Аськин, муж Таисии. А вообще-то, что дед? Сами на шею вешались.

– Да, имел подход твой папаша.

– Какой там имел! Сами все липли, рта не успевал открыть.

– Конечно. Чего там! В папу пошла!

– Кто? Кто в папу?

– Ты! Шалава!

– Сам кобель. Непутевый.

– Путевая. Уйди.

Это мать попыталась опустить ладонь на усохший кулачок отца.

– Нина, – позвал он.

Нина скрипнула дверью.

– Че, па?

– Славка не приехал?

– Завтра, я ж говорила.

– М-м-м. Приедет, скажи, пусть бабку в другой угол перетасит, не хочу больше с вертихвосткой... Ты про Ивана знаешь? Ванька, который...

– Помолчал бы! Разошелся, – оборвала мать.

– Думаю, чего-то запах пошел. Ивана своего вспомнила.

Эх Ты! Нина, оттащи ее. Не хочу, все!

– Па, ну какой Иван? Что с тобой?

– Иван Алексеич. Небось, знала такого.

– Нет, не знала. Слышала, моряк с Черного моря.

– Моряк? Как же! Брехло! Все, оттащи ее. Не могу больше.

– Нин, правда, что ли пахнет?

– Нет мам, неправда, вы давно уже одинаково пахнете.

– Не прощу! Оттащи, Нина.

Он поднялся на локте, сполз с кровати, прошел на кухню, сел у окна, сгорбив спину в горечи и отчаянии.

Нина подошла, тронула сзади за плечо.

– Па, ну чего ты? Когда это было? А сам ты святой? Ангел?

– Да, ангел! Ангел! – крикнул, – Ангел, – повторил еще

раз совсем тихо. И заплакал.

Не должен бы. Но заплакал.

За стеной мать, застыв невидящим взглядом на одинокой мошке, бьющейся о люстру, тоже тихо заплакала.

Так и застал их Гера. Плачущими.

Дед стал подниматься навстречу. Гера обнял его, и у деда еще сильнее задрожала спина.

– Что? Что такое? Тетя Нина!

– Кто там? – подала голос мама.

А когда увидела, не сразу поняла кто перед ней. Высокий, худой; круглые синие глаза, прямой, длинный, тонкий нос, плотно сжатые губы.

– Бабушка! – наклонился, неловко ткнулся куда-то в висок, поцеловал.

– Сядь, вот здесь, – она просияла и тут же отстранилась, – там сядь, отодвинься. Я сейчас. Сейчас. Не надо ко мне. Не душно у нас? – Улыбнулась, сглотнула, вздохнула свободней, – Жорик? Ты! Какой ты худой! Жора! Не жарко? Нина только уколола меня. Только-только. Еще не проветрилось.

Гера молчал. Синие глаза ничего не выражали. Как у собаки хаски. Ни нежности, ни холода, ни злобы, ни сочувствия.

– Ты как у нас, внучек? Не ждали тебя. М-м-м?

Из кухни вошел дед.

– Вовремя ты. Помоги-ка, оттащи мою кровать в угол, к окну.

– Па, давай потом, что горит тебе? – Нина стояла у двери.

– Горит. Значит горит. Ты помолчи. Давай-давай, Жорик, в окно хочу смотреть, на гусей.

И кровать передвинули.

Дед улегся:

– Вот и Рэма видно. На меня смотрит. Хорошая собака. Я слышал, ты на войне был. А? Георгий?

– Да. Здесь рядом. Вот заехал. Отец сказал мне, что бабушка плоха.

Дед пожевал губами:

– Плоха, сам видишь. А ты за кого воевал?

Гера молчал.

– Не хочешь рассказывать. А я в Красной армии воевал.

Гера кивнул, знаю, мол.

– Воевал, потому что призвали. В 42-ом. Надо было. А ты?

– Я сам, дед. Меня не призывали.

– Чего так?

– Как?

– Чего хотел?

– Я?

– Ты. Ты как попал на войну?

Гера не торопился с ответом.

– Нина, – подала голос бабка, – с дороги Жора, устал, голодный, а этот с допросами.

Нина накрыла на стол здесь же, в комнате. Бабка радостная, с умиротворением и лаской, смотрела на Геру, а тот, едва прожевывая, ел жадно, торопливо, не отрываясь от тарел-

ки.

Дед, приподнявшись на локте, смотрел в окно, на Рэма. И Рэм смотрел на деда, смотрел и помахивал хвостом. Рядом загоготали гуси и, развернувшись грудью к налетевшему ветру, захлопали крыльями; хлопали ошалело, неистово, стараясь переорать друг друга, но ветер быстро стих и они успокоились.

Крупный серый гусь, словно делая одолжение, неторопливо двинулся в сторону Рэма, подошел и, вытягивая шею, стал демонстративно хлебать воду из чашки. Рэм отогнал гуся, покачал головой из стороны в сторону и заскулил печально, не открывая пасти.

Прервал молчание дед:

– Отец твой приезжал днями. Нина гуся зарезала, хоть и не сезон.

– Да, он говорил. Гуманитарку привез. Мы виделись там.

– Вот как, он гуманитарку возит, а ты?

– А я в разведывательном батальоне. В диверсионно-разведывательном особом батальоне номер одиннадцать.

– Навоевался?

– Да.

– Что «да»?

– Навоевался.

– Кем воевал?

– Снайпером воевал.

– Понятно. Метко стреляешь?

– Научился.

– Не пыльная работка, не шашкой махать.

– Да, дед, ты знаешь, это работа и была, старался делать ее хорошо. Тут главное покой. Спокойствие и никаких волнений, всегда дышишь ровно, а чтоб дыхание не сбить, надо не злиться, не суетиться, не ненавидеть никого, любить тоже не надо, спокойно так двигаться.

– Отец видел тебя в деле?

– Да ты что, дед? Что такое говоришь? Хотя я возил его на полигон, предлагал пострелять. Он винтовку взял, в прицел глянул, но стрелять не стал.

– Ты войну свою в кустах пролежал.

Гера отодвинул от себя тарелку. Молчал, смотрел на деда.

– Чего смотришь? Так же? Я вот в кустах раз только застрял, в плен когда попал. Как и ты в особом диверсионном воевал. Да. По тылам шорох наводили. Ну и попался, в Венгрии было, в хатке залегли, а хатку минами накрыло, я, смотрю – цел, от хаты отползаю, к кустам, слышу – обходят, я быстренько из комсомольского билета вырываю странички и в рот. Съел. Улыбаешься сейчас, а что, мне девятнадцать – пацан, такой приказ был, я и съел, а обложка тугая, не могу разжевать, и так и эдак – не жуется. Ну, да, успел еще лампасы спороть, без них – просто солдат, а с лампасами – казак, а казаков в плен не брали, сразу расстреливали. Ну вот, жую эту дерматиновую обложку, один остался, мои в хате лежат, убитые, чую, на подходе, рядом они, метнулся ползком

к стене и обложку эту под камень успел сунуть. Тут они и насели. Не пристрелили. Подняли из-под стены, и по зубам. Веселятся и песенку еще запели. Немцы. Я с той песенки, как слышу немецкий, ныряю куда ни попадя, в отключку какую-нибудь. Живот сводит от немецкого. Схватки до поноса. А ты?

– Что я? – Гера поднялся, выглянул в окно.

– Что ты пристал! Чё те надо? – подала голос бабка, – чё хочешь, старый пес?

– Хочу сказать, – дед задумался, посмотрел на бабку, остановил взгляд на Гере, – хочу сказать, знал я, что война эта твоя обязательно начнется.

– Почему это ты знал? – Гера смотрел во двор, на гусей и собаку.

– А любят войну.

– И ты?

– Я нет.

– М-м. Ясно.

– Когда это началось? Георгий!

Гера повернул голову:

– Что?

– Войны.

– Как люди появились, наверное, откуда мне знать.

– Старая, когда люди появились?

Бабка вдруг изменилась в лице и, с несвойственной ей нежностью, словно впервые увидела, посмотрела на деда.

Молчала.

– Чё смотришь, манюня? Может, молишься.

– Не получается. Пока.

– Пока? Э-э, манюня.

Гера присел рядом с бабкой, взглянул на книгу:

– Библия?

– Да. Ты крестик носишь?

Гера молчал.

Бабка подняла глаза на деда:

– Знал, говоришь, что эта война начнется? Почему мне не сказал?

– Ты б не допустила? – дед усмехнулся.

– Правду ты говоришь. Все и началось с войны. Брат брата убил. Каин Авеля.

– Во! Я так и думал. Я-то братьев не убивал. Только немцев. А ты, Георгий, сколько братьев убил?

Гера взял со стола бутылку, налил рюмку до краев, выпил, крепко сжал губы – аж побелели, выдохнул носом. Вновь приподнял бутылку:

– Налить, дед?

– Нет, не надо. На сегодня все, суточную норму осилил.

– Я шахтер. Проработал сорок лет на шахте. Вот проработал всю жизнь. Да! Вот два месяца назад... А чё, месяца? Два дня! Вчера! Разбили мне дом. Два снаряда попали

мне в дом. Я всю жизнь работал на этот дом. Построил его. Батяка мой, я строил. А получается, я здесь не нужен, я должен отсюда уйти куда-то. Мне 62 года, я тут прожил всю жизнь. У меня похоронены тут дед, отец, бабушки мои, прабабушки. А, как они говорят, «чемодан вокзал, и куда хочешь». Как это так? За что? Почему? Я прожил, платил налоги. Все. Ну как все люди. А теперь вот подходит какой-то человек, не знаю, как его назвать...

– Фашист.

– Даже и фашист. Как это так, батяка мой всю войну... Воевал батяка. Был под Сталинградом раненый, а теперь оказывается его медали нужно просто взять и выкинуть. Он не правильно воевал. Не тех выгонял. Надо было идти и ховаться в скронах. На Западе. У нас разные понятия. Получились. Все, чем мы гордились, на чем жили, оказалось никому не нужно. Пришли люди, разбили дом...

«Фашист» – это вставил академик Александрович. Он в Донецком университете учредил три стипендии, привез новые разработки, технологии. А я – с гуманитарным конвоем. Здесь встретились, общались с жителями. В центре жизнь похожа на жизнь обычного города. Юг. Зелень. Музыка из кафе. Красивые девушки. Мамаы с колясками. А пятнадцать минут на троллейбусе в сторону окраин и – таких шахтеров с разбитыми домами большое множество.

Война. Настоящая. Гибнут люди. Тысячи. Вспоминается Маркс. Карл. «Нет такой подлости, такого преступления, на

которое не пойдет капиталист, когда речь идет о сверхприбыли». А говорите, Маркс тью- тью, изжил себя. Подавайте нам Хайдегера, он в моде, ну или Джойса. А люди гибнут, тысячами; кому война, кому мать родна.

– А, Боря! Слышишь, Келдыш?

– Ну, да, – отвечает Боря. – Хорош твой Маркс. Ты при коммунистах в пять лет сено воровал, чтоб корова не сдохла и это у победителей. После Победы.

Боря родом из Горловки. Совсем уж фронтовой город. До войны Боря не дожил, а раньше, когда жив был, мы гуляли здесь в парке, выпивали на скамейке. Теперь я здесь один. Кожей чувствую его присутствие.

Вот здесь сидели, из этого фонтанчика глотали ледяную воду; от спинки на скамейке кусок доски остался, видны ножом вырезанные буквы. Квадратные – «О.П. Боря К. 1970», что означает – «Оставил память Боря Келдышев в 1970-м».

– Никто не прав, Боря, – ответил бы я сейчас на упрек о сене из смерзшейся скирды, – Даже, пожалуй, больше Джойс прав.

– Вот как. Ну, ну, я слушаю.

– Боря? Ты? – я не очень-то и удивился, будто, он вот, у фонтанчика.

Бетонная тумба в побитой мозаике, но хорошо угадывается космический сюжет – ракета, круглая земля, рядом с ракетой, прицепленный к ней парит космонавт. Парит в открытом космосе. Леонов, надо думать.

– Да, это я – Боря. Так как?

– Что как?

– Что Джойс? Почему он прав?

– Потому. Джойс, вполне себе, на линии. Фронт ведь по горизонтали. Джойс объяснит. Объяснил бы.

– Темнишь. Что тут объяснять? Воронки от мин, разбитые дома. Вот тут за скамейкой... скамейку видишь? Видишь, спинку снесло, за скамейкой фонтанчик, видишь, захотел попить, наклоняешься, и струйка в рот бьет. Щекотно. Тут я девочку поцеловал. В первый раз. Потом мороженым угостил, она губами, теми самыми, что только что меня целовала, отламывала кусочки мороженого. Смеялась, не помню чему, а в уголке губ белая точка. Таяла. Замуж вышла не за меня, за чемпиона города по пятиборью, родила двойню. Под обстрел попали. Два мальчика. Погибли. Сто сорок девять детей погибли. 149. Сколько еще будет? Жертва? Кому? – Боря стоял у фонтанчика и как бы пытался поймать струйку, – Евглевский, ты где?

– Нет таких понятий, Боря, – жертва, святость, греховность; не его категории – верх, низ.

– Где это нет?

– Ты же о Джойсе? У него нет. Шкала ценностей – выдумка, идея из головы. Были ценности даже в понятиях реалистической политики Макиавелли, которая руководствовалась не отвлеченными понятиями добра и зла, понятиями гуманизма. Только интересы государства, а скорее государя.

И все! Отношения между странами строятся на грубой силе и низменных интересах. Вчера друзья, братья, сегодня друзья в другой стороне, а вчерашних можно слить, подставить. Так вот. Была своя система ценностей, своя иерархия.

– Да?

– Да.

– А теперь?

– Теперь нет. Иерархии ценностей нет. Горизонтальный срез по Джойсу. Горизонтальный. Все самоценно и, пожалуй – ничто ничего не стоит. Механизмы природы не знают иерархии.

– Что все-таки с убитыми детьми?

– А-а. Невинность. «Слезинка ребенка». В прошлом. В горизонтальном срезе – дети, недети – все – части механизмов природы. Идеальное! Материальное! Что над чем? Ни что ни над чем! Пожалуйста, отличная иллюстрация. Его герой – Блум. Леопольд Блум. Еврей, кстати; нет, впрочем, не кстати, тут это ни причем. Сидит, значит, Леопольд на толчке каккает и читает газету. Что тут первое, что последующее? Что над чем довлечет? Следишь? Сокращения кишечника меняют соображения, то есть, превращают одни мысли по поводу прочитанного в другие, подчас, совсем в другие; и, наоборот, думки, порожденные газетой, приводят к более активному, например, сокращению мышц труждающегося тела, или, эти самые думки тормозят мышцы, и Леорпольд Блум будет какать медленнее, степеннее. В зависимости от течения мысли.

Улавливаешь – ускорение, замедление? От течения мысли. Ни верха, ни низа. Ключ к Джойсу.

– Ну, к нему, может и ключ. А к войне?

– И к войне и к миру. Боря! Все случайно. Ты думаешь – ты решаешь! Благодородное негодование! Видимость это, а за ней хаос. Иерархию выстраивают люди. Чаще из корысти. В природе нет ее.

– Лукавишь Евглевский. Лукавишь вместе с Джойсом. Нет иерархии, тогда и Джойс и Донцов, и все прочие, кто писакой себя назвал, и ты, Евглевский, все в одном горизонтальном разрезе. Нет иерархии! А? И Боря захохотал... Закашлялся. И смолк.

Я присел на скамейку, услышал его хриплый голос:

– Мой брат детей и жену в один день хоронил. Большой гроб, потом меньше, меньше, совсем укороченный. Счастье, что мама не дожила, не видела, и я, Бике спасибо, не увидел.

– Боря.

– ?

– Не плачь, Боря. Маотно мне без тебя. Никто в зубы не даст. Боря!

– Я не плачу. Так.

– Ты б на чьей стороне воевал? Твой город, окопы рядом. Фронт. Не далекий Афган. Где-то там...

– Где-то там? Да нет. Не где-то там.

– Но все-таки?

– Я не знаю. Случай бы решил. Подсказка Бога, как ты

говоришь.

– Помнишь?

– Помню. Только, это так, красивые слова, – Боря, как мусульманин в молитве, провел ладонями по мокрому от слез лицу. – Что тут можно подсказать? Войне конца и краю не видать. Везде война. А?

– Что?

– Везде и всегда, с каких пор? – он помолчал, – С Авеля? Каин убил Авеля. Он что, не знал что создал?

– Кто не знал?

– Бог. Он их создал, а потом на вшивость проверил? Плоды одного призрел, другого не призрел. А?

– Свобода воли, Боря! Ты чё?

– Чё? Я не чё. Какая свобода, какой воли! Вода примет форму любого стакана. Свобода воли – туфта. Стакану нужно быть разбитым, чтоб форму изменить.

– Боря, Боря! Человек не вода. Ты – вода? Я – нет.

– Эх, Джимми, Джимми. Ты сколько лет живешь после меня? М-м? Скоро десять?

– Да, где-то так. Десять лет.

– Ты постарел. Видно, постарел. И много зависело от твоей свободной воли?

Он улыбнулся.

Мне казалось, я видел, как он пытается поймать ладонью струйку фонтанчика, струйка не дается, ускользает, а Боря улыбается. Улыбается и больше не смотрит в мою сторону.

Вспыхивали фонари на улицах, на набережной, в скверах. Из Горловки я возвращался в штаб гуманитарки. Заскочил в гостиницу, где расположился батальон Геры. Лучшая когда-то гостиница города, но от невостребованности дала приют особому батальону. Во дворе два неработающих фонтана, между ними казак из бронзы, ноги тонут в кустах репейника, а на цветах цитата: «Лев Толстой – зеркало русской революции». Гостиница называется «Ясная Поляна», казак в репейнике, надо думать, кто-то из «Хаджи Мурата» или из «Казачков».

Бойцы проверили мои документы, пропустили. А еще, выходя из машины, я услышал песню под баян: «Самое синее в мире, Черное море мое...»

В пустом дворике у фонтана пел академик Алексанрович. Бойцы у ворот слушали. Академик в подарок привез баян. Только в батальоне косяком пошли беды – командир получил тяжелое ранение, если и выживет, в строй уже не вернется; основной состав на передовой, ждет встречи с командующим, которому батальон подчинялся напрямую. Там особые отношения командира с командующим, а не будет командира – не станет, по-видимому, и самого батальона. Такие слухи. Оставшиеся в «Ясной поляне» бойцы понимали, что, так или иначе, а речь на встрече командующего с личным составом пойдет о расформировании. Радости мало. Не до баяна. Но академик играет. Играет и поет. Увидев меня, кивает и начинает новую песню про синий платочек, «что был на пле-

чах дорогих».

На крыльце у входа, припав плечом к белой колонне, курит женщина. Суровая, немолодая, в защитной форме. Курит и слушает песню.

Я кивнул, «здрaсте», потянул за ручку массивную дверь.

В фойе пусто, пахнет куриной лапшой и казармой. Гулко захлопнулась дверь за мной, подняв с полу и парадной лестницы стайку воробьев – привычно, безошибочно устремились в распахнутое настежь окно, а на раме один оставшийся смельчак, продолжал отчаянно чирикать.

Сзади скрипнула дверь.

Вошла женщина, что курила у входа, устало скользнула взглядом, прошла мимо, но вдруг замедлила шаг и застыла в центре фойе.

Повернулась голова, плечи... Стоит, смотрит на меня.

– Жмых? – тихо прошептала.

Я пожал плечами, «какой жмых? Откуда это – жмых».

– Евглевский, – вскрикнула женщина, и я узнал Перепёлкину.

Обнялись.

– Ты как здесь, Евглевский?

– С гуманитарным конвоем.

– А-а.

– Про тебя слышал, пленных обменивала.

– И это тоже. С Лимоновым.

– Эдуардом? Тот, что писатель?

– Тот, да. Без него не знаю, вряд ли у меня бы получилось. Он мощный, потрясающий.

Она замерла и, словно, потрогала взглядом моё лицо, сравнивая, наверное, меня с Лимоновым.

– Ой, – вспыхнула вдруг, – а герой наш Евглевский, он?.. – и Перепёлкина, словно выйдя из забытья, засияла от догадки. – Гера Евглевский? Позывной Грек.

– Ну да, Георгий, мой сын. Ищу его. Сюда направили, в «Ясную Поляну».

– Конечно. Постой здесь. Вон диванчик, присядь. Я сейчас. Я позову.

– погоди, – я остановил ее, – послушай, сорок лет пролетели, как и не бывало. Сорок, а не могу забыть, ты в потоке... в речке, в Узловке... если б не завхоз... если б не Лев Петрович...

– Да, не встретились бы мы, я уже наглоталась, пузо раздуло, вся булькала, пальцы онемели... Да. Да. Ты не Грек.

– Ты его хорошо знаешь?

– Кто его не знает.

– Почему Грек?

– А сейчас и спросишь у самого.

Она, как вспомнила – мост, ледяной поток, пальцы скользят по камню, вспомнила и потемнела лицом.

Однако, ступив на парадную лестницу, улыбнулась и через плечо бросила:

– Грек гребёт, как Гера галеру. Ой, наоборот, это Гера га-

леру гребет как Грек! – и засмеялась, – рэпер!

Появился неслышно, увидел уже, как он спускался по лестнице – берцы, колени, грудь... Гера с усами. Улыбнулся.

– Папа! А я ждал.

– Ждал? Меня?

– Тебя. Слышал, ты с Александровичем гуманитарку привез.

– Да, нет, он сам по себе. Мы тут познакомились.

– Он на самом деле академик?

– На самом деле. Физик. Крутой физик, что-то там в области неравновесных систем, процессов – горение, плазма, ракеты.

– Да? На баяне хорошо играет, профессионально.

– Бывает. Эйнштейн на скрипке играл. Говоришь, «ждал», а что за послание – «не ищи меня». Почему ты знал, что я буду тебя искать?

– Знал.

– Знал и ждал?

– Пап, ну чего ты? Что ты хочешь услышать? Увидел, обрадовался. Радость прошла.

– Быстро у тебя.

– Да, быстро, двадцать первый век.

Помолчали.

Сверху спустилась Перепелкина. Зачем-то закрыла окно, спугнув птенца. Тот, настойчиво работая крылышками, скрылся за развесистой ивой во дворе.

Перепелкина протянула руку.

– Прощай Жмых.

– Прощай Надя. Прости.

– Постараюсь, – И, вдруг, она протянула руку и погладила меня по щеке, – Не Грек ты. И не похож совсем. За что я тебя любила?

Последние слова мы не услышали, они звучали уже за стеклом массивной яснополянской двери. Определенно, что-то такое сказала, удаляясь. Про любовь с вопросом.

– Почему ты жмых?

– Потому что ты грек.

– Да? Не понятно. Ты знаком с ней?

– Знаком. В одном классе учились. Я ее с моста толкнул, в горную речку. Вот выплыла, пленных спасает.

– Толкнул? В какую речку?

– В Узловку. Не важно. Кто она у вас тут?

– Вообще, медсестра. Она классная, с первых дней тут... но, видимо, вот-вот все поменяется. Расформируют нас. По-моему, вопрос решенный. Идем.

Мы вышли. Гера вызвал такси.

– И что, – спросил я, – Расформируют – это трагедия.

– Долго объяснять. Дисциплина, общее подчинение. Я сваливаю.

– Навоевался?

Он не ответил.

– Без пальца, как стрелялось?

– Их же пять на руке, одним больше, одним меньше...

– Как тебя угораздило? – коси коса, пока роса. Косарь.

– Я специально.

– Что значит специально?

– А тебя позлить. Мне удалось.

– Врешь, как всегда.

– Нет. В этот раз нет. Я и сюда приехал тебе в пику. Тут же убить могут. Ох бы ты порыдал.

– Может быть. Знаешь, мало тебя порол.

– Разве ты порол?

– Пару раз было.

– И за что ты меня порол?

– Не помню. За дело, наверняка. Ты же упертый. Вызов ходячий! Не то чтоб порол, но в углу ты поторчал не один раз. Постоишь в углу, потом что-нибудь из моих вещей пропадет.

– А это помню, – он засмеялся. – Я отметки в дневнике подделал, ты ругался, горло драл. Потом в угол поставил. Я стоял и думал, какие вы все сволочи, она мне тройку за то, что теорему не выучил, а на хера мне та теорема.

– Что за теорема?

– Какая разница. Я объяснил, как понимал, так нет же, в учебнике по-другому. Обидно. Тут ты еще. Потом уже ночью, ты выпустил меня из угла, я лег, не засыпал специально, дождался, когда вы заснете, встал потихоньку, я знал, где лежит твой швейцарский нож. Черный. Вообще-то такие но-

жи красные с белым крестиком, а тот был черный, какой-то особой серии, ты хвастал, что подарок друга, журналиста из Амстердама. Красивый. Длинный, с широким лезвием. С каким наслаждением я вышвырнул его в форточку.

Подъехала машина.

– В парк, – бросил Гера, усаживаясь впереди.

– Слышал ты, я думаю, «по плодам их вы узнаете их». И так и не так. Еще раньше один пророк заявил, да не будет у вас эта поговорка в устах ваших, не будет у вас так. Он имел в виду – «родители виноград ели, а у детей оскомины на зубах», ну, то есть, если родители козлы, совсем не обязательно дети свиньями вырастут. «Сын за отца не отвечает» – не Сталин выдумал. Ну и наоборот, как ты понимаешь, если сын говнюком вырос, так он сам и говнюк. Прежде всего, сам. Сечешь?

– Секу, секу. Успокойся, папа. Ты ругаться приехал? Все прошло.

– Прошло? А что прошло?

– Папа, я люблю тебя.

Из такси выходили у входа в парк.

Ворота распахнуты. Издалека урывками слышна музыка – бум, бум, бум, стихнет вдруг, унесенная порывом ветра. Остается птичий щебет, голоса рядом, а потом вновь – бум, бум, бум. Кафе где-то в глубине парка. Там гуляют друзья Геры. И просто гуляют, и по случаю расставания. Я не понял тоста Геры, когда он где-то к концу застолья, предложил вы-

пить за восточные сказки. А, может, «глазки», выпито было изрядно. Станным показался тост. А как только вышли из такси, окружила стайка девиц – «можно с вами сфотографироваться?» – Гера. И так мы пятьсот метров до кафе добирались вечность. Гера охотно, с легким высокомерием, позволял себя фотографировать рядом с брюнетками, блондинками, рыжими и пр. Когда девушка была с парнем, как правило, фотографировались втроем, случалось изредка, парень отходил в сторону, усиленно скрывая досаду.

Видно было, Гера привык к популярности, повышенное внимание девиц льстило и блуждающую улыбку никак не могли скрыть медного цвета усики.

А первый опыт отношений с девочками был плачевным. Даже кровавым.

– Гера, что это? – мать обнаружила в кармане его куртки фигурку индейца из «киндер-сюрприза». – Вкусное было яйцо?

– Нет.

– Не вкусное?

– Я не знаю.

– Ты съел шоколадное яйцо?

– Я не съел.

– Хорошо, а индеец откуда?

Но Гера уже ушел в свою комнату и занялся машинками в гараже. Мать вошла следом и поставила перед ним индейца.

Индейцем не закончилось.

Время от времени он приносил из садика то верблюда, то ворону, то принцессу. Однажды обнаружил заколку.

– Соня подложила, я видел.

– Соня?

– Она хочет, чтобы я пил ее какао.

– Ты пьешь?

– Пью. Она туда что-то бросает. Листики.

– Листики?

– Да. Чтоб я был Соня.

– Какие листики, Гера?

– Цветочки желтые.

– Тебе вкусно?

– Вкусно. Я люблю какао.

– А цветочки?

– Цветочки в карман складываю. В шорты.

Я почти застал эту кровавую драму. В тот раз из садика забирал его я, пришел чуть раньше, в редакцию идти было не надо, сочинял статью дома. Стал свидетелем, собственно, финала. Постскриптум, так сказать.

Надежда Игоревна, высокая красавица с косой и зелеными глазами, во дворе детского сада, склонилась над Герой и прикладывала примочку к распухшему его носу. Тот продолжал всхлипывать, а рядом остановившимся взглядом, взъерошенная, без шапки, наблюдала за ними Соня.

Приди я на пару минут раньше увидел бы невероятное.

Было так:

Гера из влажного песка лепил солидных размеров машину. Девочка Маша носилась по дворику, отыскивала подходящие по ее мнению детали к автомобилю – упавшие листики, камешки – и спешила вручить их мастеру. Работа ладилась, автомобиль обретал узнаваемые формы. Еще бы чуть... Но вдруг из стайки детей у высотной горки вырывается Соня и с диким хрипом несется к песочнице – Гера как раз принял от Маши очередное подношение. Она несется, наскакивает, Гера падает, она наваливается и истоиво начинает колотить его. Колотит, что есть мочи, удары сыплются на голову, лицо, вот уж из носа брызжет кровь, но Соня остановиться не в силах. Гера кричит: «а-а-а...», кулачки мелькают – так-так-так. Так-так-так. Она не унимается. И даже когда Надежда Игоревна стаскивает ее с изменника, поверженного и ревущего, Соня успевает достать и пнуть того ногой в последний раз.

Меня девочки не били. Но и не сыпались гроздьями на грудь.

Гера вел меня к кафе под открытым небом – дубы, увитые виноградной лозой, лихая музыка, голоса, тосты. В углу за сдвинутыми столиками шумная компания, направляемся к ним. Встретили шумно, радостно.

Но скоро мы продолжили прерванный разговор.

– Ты удивил, сынок, удивил, честное слово. Только все как-то... какие-то смешанные чувства.

– Как это?

– Ну, смешанные, все в куче, и одно другому в пику. Трудно понять.

– А что ты хочешь понять?

– Девушки прямо падают на тебя, откуда такая любовь?

– Любовь? Ну...

– Не знаю, каждый же стремится к ней; ждет, ищет, томится. «Мне скучно бес». Того и скучно, что нет ее. А есть, свалится с неба, ну... тогда... А оказывается, тогда – уж лучше скука и тоска, и сжигает и выворачивает, глаза из орбит – груз не по плечу. Может, когда взаимная, когда – в равных долях, все по-другому? Бывает в равных долях? А?

– Что «а»?

– Ты ж чемпион любви. Должен знать. Вызываешь такое воодушевление улиц.

– И улиц, и парков, и площадей. Только ж воодушевление не любовь.

– Ну да, ну да. Хорошо! Но почему? Откуда такой восторг? Они ж млеют от желания тебя потрогать. Ты герой?

– Так считается.

– И сколько нужно в прицел поймать, чтоб героем признали, чтоб в чемпионы выйти.

– Вот ты как!

– Как? Я понять хочу.

– Прекрати. Тут война. Я в госпитале три раза валялся.

Помолчали.

И за столом пауза случилась, друзья Геры отошли куда-то.

Как потом оказалось за мороженым ходили, в кафе не нашлось мороженого.

– Не хотел говорить, но чтоб ты протрезвел. В последний раз одноклассница твоя вытащила меня, лежал не долго, но... понимаешь... в общем, ты никогда не станешь дедом, папа.

«Па-па» прозвучало едко и с издевкой.

– Гера! – я встал.

– Ладно, ладно, не надо скулить. Жениться-то я и смогу, пожалуй. А дети! Что дети?

И он засмеялся.

Смех паскудный. Такой – в превосходстве и печали. Печаль от превосходства.

Встал, закурил, выбрался из-за стола, хотел уйти. Я остановил его.

– Гера, погоди. Остановись. Да стой ты, блядь.

И он вернулся, тумблер какой-то в голове переключил.

Вернулся и уставился на меня. Другой человек. Никогда так не смотрел на меня. Никогда. В глазах – тепло и нежность.

– Папа, как там, у Достоевского, «не надо размазывать». Умный был. Уже случилось. На войне бывает. И прошу, не будем больше об этом. Ну, пожалуйста.

Вернулись товарищи Геры, принесли мороженое. Веселились долго, до закрытия, до комендантского часа, под конец – непонятный тост о восточных глазках. Или сказках.

Потом у меня в номере он рассказал историю своей последней операции.

«Грек! Ты грек греческий?

отправитель Бук»

Это Гера получил такое сообщение. У них отношения, как бы это сказать, незлобивые, что ли. У снайперов. Отношения лишены злобы, ненависти. Во всяком случае, у Геры так. После ранений – одного, второго – пришло осознание полной своей неуязвимости. Свое, мол, получил. И эта абсолютная уверенность, как щит прикрывала его, а потери с той стороны стали расти как-то уж особенно вызывающе. Тут-то он и получил привет от Бука в одноклассниках. Ну, да они общаются, а чего? Гера ответил:

– Звучит красиво – Грек. А? Как тебе?

Бук написал:

– Ехал Грека через реку.

Видит Грека в реке рак.

Сунул в реку руку Грека.

Рак за руку Грека – цап.

Цап-царап! Не боишься Грек?

А потом Гера снял его напарника. Застрелил. Тогда из сообщений Бука ушла ирония, веселость.

– Меня вызвали очистить ваш участок.

– Очищай. Откуда тебя вызвали?

– От тебя очистить. Животное.

– Так откуда тебя вызвали, Бук? Бук – дерево. Ты дерево?

– Я – дерево. И на нем ты будешь болтаться. И мама твоя.

У меня в номере мы продолжали застолье.

– Ты знаешь, пап, никогда я ничего особенного не испытывал. Наряды, дежурства. Сидишь, переползаешь, ховаешься. Иной раз застыл и без движения по пять часов, курок нажал – все, вся работа. Десятки раз на той стороне кто-то уходил навсегда, но... вот сейчас рассказываю тебе, и поднимается тоска в груди, вспоминаю и... тогда нет, не задумывался. На сердце покойно. Ни злобы, ни азарта. Но тут, выбил меня из ритма Бук-дерево. Маму, папу приплел.

– Что и меня обещал на буке подвесить?

– Обещал. Да, я не удалял сообщений. Все остались. Сейчас покажу, – он вскочил, ноутбук в «Ясной Поляне», – я скоро.

– Погоди, какая «Поляна»! Комендантский час.

– Не для меня.

– Остынь. Покажешь. Потом, завтра. Кто такой этот Бук? Гера рассмеялся. Неуместно и нелепо. Мне так показалось.

Выпили еще.

– Впервые со мной такое за всю службу.

– Какое?

– Бук обещал из моего дома сделать факел и поджарить на нем весь наш гурт, он так написал – «гурт», мол, все ваше баранье стадо, бабушек, дедушек, дядей, тетей... Я перестал

отвечать, но послания его читал, даже ждал их. Лихорадочно ждал, а когда приближалось время наряда, начинал испытывать волнительный холодок в животе. Такой даже сладостный холодок, – он усмехнулся, продолжил:

– Зима заканчивалась. На самом исходе случилось. Низкие пухлые тучи, талые лужи на мерзлой земле. Земля не успела оттаять, но уже лужи. Между двух холмиков – ложбинка, но ложбина эта сама на холмике, то есть, два холмика, а третий с ложбинкой меж ними, эти два повыше и мешают обзору, я на передок холмика этого выполз, так что те два, хоть и выше, но чуть сзади, потому обзор вполне приличный. Приполз затемно, пока утро не наступило, убрал тепловизор, достал мачете, «Тайга», классная вещь, неспеша отрыл свою канавку, уложил в нее «крокодила», и только улегся... Только-только, и тут – ёкнуло! Даже не предчувствие, не знаю, как назвать. Когда за секунду до шага, ногу еще не поднял, секунда не прошла, но точно понимаешь, что ступит нога именно туда, именно в точку. Замер. Не дышу. Там сбоку в лесополосе. Хиленькая такая лесополоска. Изжила свое, вы с ней одного года, наверное, пап. Ветки сухие и по весне уже не зазеленеют. И там не движение, нет. Не звук. А, как бы, тепло пошло. Тепло живое услышал, почувствовал – всего-то метров триста, ну пятьсот, не больше. Сдвинулся плечом влево, голову вытянул, уперся плечом в приклад и в прицел увидел Бука. Он, конечно, в «Кикиморе», лица нет. Да и не знал я этого лица, не видел никогда. Но понял, что это он, да и кому

быть? Не первая такая встреча. Бук без лица, никто не видел никогда, ну а Грек, я – Грек. Не скрываюсь. Увидел – Бук! А как увидел, покой сразу, тело не весит ничего. Это автоматом уже. Тело действует, минуя мозги. Тренинг не одного дня-месяца. Ничего не весит тело, его нет, и я нажал курок. Сработал хорошо. Но! Но что за бредовое желание возникло? Откуда? Чего пополз? Сделал работу? Молодец! Так нет, пополз. Взглянуть. Кто ж это такой поджигатель, морду захотелось увидеть. Остывающую. Остывающая морда поджигателя. Выстрелом насладиться захотелось. Что ж это за сучок такой, на котором я должен болтаться? Бук – дерево, земля – планета, луна – спутник, умрем все. Вспомнилось. Вообще-то снайперы, как правило, в паре. Но эта... Она ж напарника потеряла. Я помог.

Гера замолчал.

– Она?

– Я, когда приподнял плечо, чтоб перевернуть, рука ее рефлекторно дернулась к поясу «разгрузки» за пистолетом, дернулась и упала. Грудь в крови, пуля в ключицу вошла. Убрал полоски «кикиморы», сдвинул в сторону, убрал и... ведь пополз, чтоб насладиться остывающим лицом, когда сдвинул, узнал сразу. Потом мне вспоминалось, будто я ждал этого. Что-то такое. Я не удивился. Не ах, ах, ах! Ничего такого. Это было лицо Бике. Уколол промедол, у нее дрогнули ресницы, когда обрабатывал рану, открылся один глаз. Потом второй. Взгляд ничего не выражал, да и не взгляд это

был, просто открыла глаза. Кровь остановил. Не много и потеряла. Крови не много потеряла. Оставил лежать под сухой акацией. Оставил живой.

– Умерла?

– Нет. Не умерла. Забрали ее. Но писать мне перестала.

– Воюет?

Гера не услышал.

– Бике воюет сейчас?

– А? Да. Наверное, да. Воюет.

– Понятно. Тебя не наказали?

– Не наказали. А кто знает? Только ты теперь да сама Бике.

– Понятно. Не знаю, что тебе сказать.

– Послушай... – Гера встал, потерял нить, забылся, – э... э...

Подошел к окну. Там в синем свете слепящей луны шелестит листьями старый тополь, окна распахнуты – в городе тишина кладбищенская, ну или небесная, только листья шелестят, тихо-тихо.

– Послушай, – он улыбнулся. – Нас могли бы обвенчать?

Она-то чурек.

– Обвенчать могли. Жена мужем спасается. Но что за мысли! Ты стебаешься? Как насчет факела из дома Евглевских? Бабушки, дедушки...

Он вернулся к столику, поднял бутылку – пустая.

– Еще нет?

– Нет.

– М-м.

– Сейчас, погоди, – я встал. – Сейчас. У Александровича, у академика, наверняка, найдется. Он на втором этаже, ниже. Двести, погоди... двести одиннадцатый. Ну, да, двести одиннадцатый. Поймет, надеюсь, не каждый день находишь сына. Охотника за головами.

Шелестели тополиные листья под окном.

– Пап.

– Что? – я обернулся у двери. – Что, Гера?

– Скоро светать начнет. Здесь же юг, светает рано.

Я спустился на второй этаж, прошел по пустому коридору.

Тихо. Постучал в дверь с табличкой 211.

Второй раз стучать не пришлось, академик спит чутко, дверь скоро раскрылась.

Я переступил с ноги на ногу.

– Сергей Анатольевич, простите ради Бога. Тут такое дело. Я сына сегодня отыскал, ну, то есть вчера уже. Комендантский час...

– Сына? Как он тут? Зачем?

– Воюет. Снайпер.

– Вот как. Ваш сын воюет?

– Ну да. Но уже все. Он отвоевался. Увольняется.

– Что ж мы через порог. Заходите, – он отступил назад.

– Сергей Анатольевич... Видите ли. Может быть, найдет-

ся у Вас...

– Пройдите же... Что найдется?

Я вошел.

– Выпить... Чего-нибудь.

– Выпить? Ах, да! Конечно. – Он включил бра на стене.

Посмотрел на себя в зеркало. – Я бы хотел познакомиться. Такой случай. Не возражаете? Только оденусь. Выпить? Найдется выпить.

Через несколько минут я открывал большую пузатую бутылку.

Разлили. Но разговор не клеился. Гера отвечал неохотно, интерес к нему как к бойцу как-то напрягал его, он сопел, отвечал без энтузиазма и односложно. «Да, нет». «Никогда». «Никогда не думал». «Папа лучше знает». «Другой не знаю». «У меня первая (война), есть и те, у кого она и третья и пятая». «Нет, наркомовские сто не выдают». «Вино лучше». «Это? Это прикольно. Нравится».

Нравится, это то, что принес Сергей Анатольевич – ром «Абу Симбел», разговор незаметно стал выкручивать в эту сторону. «Мурфатлар», «Котнари», «Абу Симбел» – но-стальгия семидесятых, студенческий рай. С академиком мы учились примерно в одно время. Вспоминали: Мансуров, Раушенбах, Фазиль Искандер.

Борис Раушенбах преподавал у Сергея Анатольевича, и Гера заметно оживился, когда заговорили об общей теории перспективы, хоть и не слышал он ничего о Раушенбахе в

своём колледже живописи. Такие времена, такие колледжи. А тут – обратная перспектива, «Троица» Рублева. Троица и троичность. Безупречность и формальная логика. Нам ближе становился Леонардо да Винчи, ближе и родней, хоть и не все ясно было в потоке академика, но главное близок был пафос: мы родные – далекие и близкие, математики и живописцы.

И особенно загорелись глаза у Геры, когда академик заговорил о Шекспире, «пару пьес, которого, удалось осилить». «Они ж жизнь через свое сито сеют. Просеивают, и на бумагу; Шекспир, Толстой, а зачем мне их сито, я сам проживаю свою жизнь. Жди, сиди и жди, сейчас они все тебе объяснят...

– Но как же! – я возражал, – Чехов, допустим, ничего и не объясняет, однако ж весь мир тянется к нему...

– Так уж весь? Я не тянусь. В нас изначально заложено все. Это потом забиваем себе голову – Достоевский, Кьеркегор. Ах, ах, ах! И где ты? Где твоя жизнь? Они ж кровопийцы! Хайдегеры, Ницши, они ж твою жизнь в свою превращают. Нет, я не тянусь. Моя жизнь – мое ликование. Да. Зачем мне с небом говорить через кого-то? Где твоя отвага? Отвага! Зачем мне фильтры эпилептиков и умалишенных?

Гера, довольный, заулыбался, толкнул меня плечом, такие речи патокой ему по сердцу, академик радовал его. Сам-то, сынок, тундра – тундрой. Целина.

Улыбался, захмелевший. Плеснул всем по стаканам:

– Замечательно! Замечательная встреча. Я рад. Сергей...

Э...

– Анатольевич... Сергей Анатольевич. И я рад. Да. Будем встречаться. Обязательно. У меня дача на берегу, баня, лес. Обязательно. Вы воин, Георгий. Время штука лукавая, да и более можно сказать, времени не существует, сгустки, толчки энергии – пожалуйста, а времени нет; я как с отцом посидел, Георгий, притом, что мои внуки вашего возраста, а отец мой до Берлина дошел.

Помолчали.

– Забавно, Георгий, – академик положил руку на его плечо, – до Берлина дошел, а погиб в двадцатилетие Победы, медаль получил Юбилейную 9-го мая... Дом соседний загорелся, сразу как-то огонь до неба, отец детей вытаскивал... взорвался газовый баллон... я вез его в больницу... на руках у меня умер... голову ладонями сжимал... А всю войну... ни одного серьезного ранения... А ты? У тебя как?

– У меня? Так пустяки.

– Отец не вспоминал о войне, не помню его рассказов, не любил рассказывать про войну.

– Понятно. Чего там рассказывать.

Они долго рассматривали друг друга. Академик в ожидании, что Гера расскажет-таки про свою войну, и этим как бы удлинит, увеличит память об отце, заставит жить отца после двадцатилетнего юбилея Победы, после взорвавшегося баллона.

Но Гера молчал.

«Не рассказывать же о Бике?»

Как она? С кем? У нее сын. Вырастет, тоже русских убивать будет. Сам я в кого стрелял? Трупов не видел. Никогда. Тех, в кого стрелял, никогда не видел убитыми». Хотел сказать Гера.

Но молчал.

Пьяная пауза.

Я смотрел на них, тоже молчал. Подумал, мой отец много трупов видел. Много. Правая лопатка, бедро, икры обеих ног – в бледных шрамах. Контуженный. А вот живет.

Пьяная пауза не бывает неловкой. Сиди с нами Боря Келдышев, наверное бы, уронил уже голову на грудь и спал бы безмятежно, но его, Борю, разбудил бы ангел, что пролетает в такие минуты.

Ангела спугнул свист первого троллейбуса. Из кустов роз под окном (весь город в клумбах роз) выпорхнула стайка синичек.

Брезжило утро.

Бутылка пуста.

Закончился и комендантский час.

Академик засобирался.

– Пора, пора. Надо поспать еще. Будильник поставлю, в одиннадцать лекция.

Прощались. Академик задержал в своей руку Геры:

– Увидимся обязательно. Хочу тебя с внуками познако-

Мить.

Гера закрыл дверь и зашел в ванную. Зашумел душ.

Я включил чайник.

Попили кофе.

– Когда?

– Завтра. Ну, то есть уже сегодня.

– Заедешь к бабке? Я был у них. Мама уже не встает, а отец, дед твой... он тоже лежит, но, думаю, до ста дотянет. Старческие причуды. А? Гера? Как? Заедешь?

– Может быть. Ладно, ладно, заеду.

– Бабка как-то по-особенному любила, слышал: собаки – единственные существа, которые любят человека больше себя. Ты был пик ее радости, маленький был такой – куча, губы раскатаешь – красные-красные, не улыбочивый, редко-редко улыбнешься, а глаза сияют. Бабка, когда вы вместе груши мыли, или, там, гусей поили, или помидоры собирали, она задыхалась... воздуху не хватало, из груди – хрип, стон, смешок, короче – восторг через край. Как вы сейчас с ней... Как увидите? Бог весть. У тебя вон сейчас и губы тоньше, и пальцы короче, и она другая. На самом пороге все видится в другой перспективе.

– В обратной?

– Точно. Самое главное видится в обратной перспективе.

– Прощай папа.

– До свидания. Обними деда и бабку.

– Обниму. Твоя обратная перспектива – я Гера Грек.

– Юность – это возмездие, – я ему вдогонку.
Он не обернулся, может уже не услышал.

Поднималось солнце, резко очерченные, побежали из-под колес, длинные тополиные тени.

Ностальгические воспоминания водителя и попутчицы лились без конца. Гера начал клевать носом. Водитель, в недавнем прошлом, зам. главного инженера завода холодильников «Nord», узнал в женщине Александру Осиповну, работницу склада готовой продукции. Довоенная жизнь им виделась, как... *Утро красит нежным светом*

Стены древнего Кремля

Просыпается с рассветом

Вся Советская земля...

...как безоблачный Первомай.

Первомай – Перворай!

– Мама, – подпрыгнул рядом с мамой мальчик лет семи, –
мама, мама, глянь!

Гера вскинул голову.

Впереди, пересекая шоссе, семенили, быстро перебирая лапками, красно-бело-сине-фиолетовые птицы с длинными хвостами. Две. Крупные, с курицу. Следом выскочила из кустов целая стайка, эти поменьше, не такие яркие, совсем не яркие, серенькие. Понеслись вдогонку.

Водитель тормознул. Выключил двигатель.

– Фазаны. Столько развелось, мама родная! Тут мины кругом, охоты нет, вот им и раздолье. Кому война, а кому, вишь ты! Сейчас еще будут. Табунами бегают.

Рядом, из зарослей на обочине выскочил совсем уж крупный фазан с очень уж длинным хвостом; шея синяя и переливается перламутром. Выскочил, побежал – запрыгали тени по его голове, спинке, по хвосту. Бежит, но не спешит, полон достоинства и грации, клюв вперед – властитель степи.

Гера вышел из машины, закурил.

Вышел и водитель, тоже закурил. Узнал Геру – народного героя.

– Грек?

Гера курил.

– Уезжаешь?

Гера курил.

– Совсем, или как?

– Совсем, – Гера придавил каблуком окурок.

Сел в машину.

Ехали молча.

Слева заканчивалась лесополоса; закончилась и сразу явилась Саур-Могила – высокий холм, почти гора. Чехов писал, что с макушки этой горы видна не только степь – безучастная, равнодушная, поглощающая всё и всех – с надеждами, мыслями и желаниями; степь индифферентная и бесконечная... отсюда можно увидеть и как далеко-далеко вдруг могут блеснуть рельсы. Блеснут – а значит, возможна другая

жизнь.

Скоро и море. Слева. Настоящее, с портом и кораблями. Домики белеют какие-то, а ниже, ближе к берегу растяннулись прибрежные строения, эти покрупнее домиков. И все в мареве колышется – Таганрог.

– Был я в том Таганроге, – дед, поднялся, спустил ноги с кровати, – пшеницей в порту торговал.

– Купец! Сидел бы дома, семья б была. А так... Не пришлось бы Иван Алексеича убивать, – подала голос бабка.

– У-у-у! Внук тут, а то сказал бы я тебе.

Помолчал.

– Не убивал его никто. В Ворнцовке он, поняла. Бегаёт. Дристун.

– Правда? Трофим, правда?

Гера вытащил сигарету из пачки, пошел во двор.

Дед смотрел в окно, видел, как Гера щелкнул зажигалкой, присел на скамейку, улыбнулся чему-то. Дед тоже скривил губы, посмотрел на бабку:

– Правда, правда. Сенька видел его на базаре в Воронцовке – борода по пояс, обрит на лысо, прямо чеченец. На базаре его видел Сенька. Говорит, что поросят он продавал. По голосу, говорит, узнал, потом пригляделся – точно, гармонист. Так что, умирай спокойно, манюня, живой твой Ванька, – и тихо прошипел, – шалава!

– Зря ты, не было у меня с ним ничего.

– Да?

– Да. Помнишь, Джим в коме лежал у себя там, после взрыва в метро.

– Ну?

– Я ездила к ним, помнишь?

– Ездила и что?

– Я съездила – он поднялся. Живет, здоровый.

– Ты к чему?

– Не хотела говорить, и не говорила никому, но скажу. Скажу!

– Скажи, скажи. Чего ж такого мы не знаем?

– Я, если на курицу посмотрю, ну, так вот, посмотрю, курица эта яйца начинает нести большие. И вообще. На парня посмотрю, к нему сразу девки липнут.

– О! А к тебе?

– Я его пожалела, он же кроме, как свиной резать, в остальном такой бестолковый. А тут, помнишь, он заколол нашего кабана, а кабан как сиганул, и через весь хутор с палеными боками, помнишь. Из костра выскочил. Потом упал у конторы. Вижу, Гришка от обиды аж захирел. Я и стала на него смотреть. Пожалела. Бабы тоже как-то... мимо, мимо. Хотела, чтоб ему лучше стало, я и посмотрела.

– Ох, ты! Смотрящая. Красавица!

– Знаю, что не красавица. Не была никогда. И чё? Думаешь, страдала? Некогда было страдать, день-деньской – кобели вереницей. Я крепкая. Сам знаешь.

– И что ты с Гришкой?

– Что с Гришкой? Сколько лет, как похоронили. М-м-м... уж и косточки истлели. Ты-то чего такой живучий, водочку вон до сих пор лакаешь.

Дед долго молчал, смотрел в окно, там, во дворе Гера трепал собаку за холку, а та тыкалась мордой ему в грудь, подпрыгивала и царапала языком лицо.

Дед вдруг закричал:

– Нина! Нина, неси зеркал, – встал и склонился над бабкой. – Говоришь, съездила, посмотрела, и нет комы. А? Манюня? Посмотри на себя. Манюня, посмотри. Может, погуляем еще. Посмотри.

Вошла Нина:

– Какое зеркало, па?

– Ой! – бабка тихо улыбнулась. – Какое зеркало, дурень старый. Это ж стекло, чего смотреть на стекло, надо вживую. Понял, вживую. – И опять тихо улыбнулась.

На другой день дядька и двоюродный брат Славка провожали Геру в аэропорту Минеральные Воды. Уже объявили регистрацию, а проблемы капитализма и справедливого устройства жизни так и не нашли окончательного решения.

Еще в машине, на пути в аэропорт, дядька, глядя на ухоженные поля, спросил:

– А что там, у сепаратистов, земля у кого?

– Да я не вникал. Воевал.

– Воевал? А за что?

Встрял Славка:

– Пап, ну чё ты? Дед доставал, доставал, теперь ты.

– У меня... ну у нас два поля. Большие поля, – дядька сбавил скорость, проезжали железнодорожный переезд. – За сеял всю землю подсолнечником. Знаешь, сразу подняться можно. На семечках. Так хотелось! А тут, раз – ни одного дождя. За лето ни одного дождя, головки с кулачок и те скуксились. Все пропало, весь урожай. Вот и сдал всю землю корейцам, иначе б хана мне. А корейцы – лук, морковку, арбузы, смотрю, процвитают на моей земле.

Славка подал голос:

– Говорил тебе, не сей одни семечки. А ты!..

– Корейцам тоже надо жить. Так, Гера? А что там у них, все-таки? Россия кормит?

Гера пожал плечами:

– Наверное, и Россия. Комбат наш, помню, он большая знаменитость в Москве, так он все спасать мир хотел. Оттуда из окопов. Место новой сборки России – его слова. Власть народу и все такое. Все по справедливости. Только мне не интересно. Отцу может быть, гуманитарку возит.

– Нет, погоди, племянничек, как это тебе не интересно? – дядька выруливал на прямую до аэропорта. – Не интересно! Кровь проливал и не интересно. Я не понимаю...

Еще и еще раз объявили регистрацию.

Дядька обнял Геру:

– Будь здоров, – захотел что-то еще добавить, не договорили ж.

Но только рукой махнул, не буквально махнул, головой дернул.

«Похоже, как Келдышев», – мелькнуло у Геры голове.

Дядька обнял еще раз, хлопнул по груди сначала Геру, потом себя зачем-то.

Обнялись и со Славкой.

А я получил СМС от Геры. Позже, думаю, когда у него за окном вновь мелькали горы, холмы, ухоженные поля.

Не дозвонился. Дома буду позже. Дед Трофим классный. Бабушка рассказала, как тебя с твоим дедом слепая лошадь крутила на барабане. Супер. Люблю тебя, папа.

Славка с отцом выходили из здания аэропорта, садились в свою машину. Гера подходил к стойке регистрации... и отвлекся на звонок мобильного:

*Вырастала кукуруза,
Не видать Кавказских гор...*

В десятке шагов девушка с сумкой и рюкзаком выходила из отсека получения багажа, остановилась, сбросила рюкзак, звонок продолжался:

*Мой миленок заблудился!
Заблудился, заблудился,
Заблудился и пропал!*

Стала рыться в рюкзаке.

*Урай-да-райда, урай-да-райда,
Урай-да-райда, у-рай-да!*

Достала мобильник, но звонок оборвался.

Сняла темные очки, потыкала пальцем в телефон.

Гера захотел приблизить лицо, рассмотреть. Привычно, уходя в ледяное спокойствие, сунул палец под ремень у плеча... но ремня нет. И винтовки нет. И оптического прицела нет, это все – в «Ясной Поляне». Остался бинокль. Гера достал его из рюкзака, стал выходить из очереди.

Девушка за стойкой окликнула:

– Паспорт... Эй, парень, паспорт ...

Гера вышел из очереди.

В бинокль крупно – черные густые брови, синий-синий глаз с точкой-зрачком в центре.

Опустил бинокль. Подошел ближе, и еще шаг, еще...

Это Бике. Лицо Бике.

Латифу было полтора года, когда семья оставила горы и стала жить в поселке в соседстве с новыми людьми.

Люди не радовали его. Он быстро понял их язык, они его языка не понимали.

Здесь жилось сытно, не тревожили холода, только дышал он ртом, густой липкий воздух степи был непривычным, чужим. Он стал бить ручонками по днищу ведра, как в бубен... Таяло марево, проступали из-за холмов горы.

Дап-да-бу, даб-да-бу, даб- да-бу.

Отец, немолодой уже, с жидкими седыми усами, прямой сухой и далекий, посмотрел на сына. Посмотрел и заплакал.

На следующее утро отец поставил перед Латифом истертый желтый бубен. Латиф тогда только на голову был выше бубна.

Дап-да-бу, дап-да-бу, дап-да-бу.

Каждый вечер поселок замирал, вслушиваясь в игру чудо-ребенка. И даже сетловолосые оставляли дела в своих дворах и, недовольные, замороженные, замолкали и опускали руки. Повизгивали свиньи, недоенные, вздыхали коровы. Они не видели гор, что вставали из-за холмов, и воздух вершин не доходил до них, но тревога рук мальчика передавалась всему поселку, наполняла всю просторную степь.

Гера ехал в автобусе, у окошка, слушал Бике, оба смотрели в сторону приближающейся горы Бештау. Бештау в переводе с их языка – пять гор. Пятигорье. Гера слушал, сдерживая раздражение – в интонации Бике слышалась некая обида, вызов, ему казалось, что он знает финал. По интонации

знает. «К чему? Наверное, так выражает свою досаду, сожалеет, что так быстро согласилась взять меня с собой».

Бике продолжила историю брата.

Отец Латифа расправил грудь, гордо вскинул голову – на ребенка дивились. «И кто ж такие его родители!» У Латифа стали появляться братья, сестры. Латиф рос. Уютным, теплым и богатым становился их дом. Забывался в тепле Латиф, и только вечером руки сами тянулись к бубну.

Дап-да-бу, дап-да-бу, дап-да-бу.

Удары становились мелодией.

В жаркую осень он вместе с голубоглазыми сверстниками вошел в большой прохладный дом.

Здесь, когда Латиф стал узнавать из букв свои мысли в чужих строчках, все увидели, что, встав из-за парты, когда заканчивался урок, он натывается на одноклассников. Не спасали очки, потом другие очки, потом сильные очки, ничто уже не могло помочь Латифу.

Дап-да-бу, дап...

Ломается, никнет мелодия, обнажая удары. Нет музыки.

Высох отец. Стал брить усы. Выросли и покинули дом, разъехались в разные стороны братья и сестры.

Латиф жил в доме отца. Выбирался иногда за калитку, садился на скамейке и постукивал по барабану, так, не усердствуя, не пытаясь ничего услышать. Запахи, желание запахов мутило рассудок, почти всегда угадывал ее поход за водой.

Вот она совсем рядом, бедра, плечи, грудь вспарывают горячий воздух, и Латиф тонет в его потоках. Мутится рассудок в остром запахе Айсет, она проходит мимо с пустыми ведрами. Прошла. Далеко. Но не так, чтобы не слышать, как бьет сильная струя – Айсет у колонки наполняет ведро. Будет возвращаться, опять будет рядом. Пока бьет струя.

И: дап-да-бу, дап...

Удары поглощают и звук воды, и запахи, и всю жизнь степного хутора.

О! Услышь! Услышь меня. Услышь мой голос из бесконечно-великого земного хора. О, Всевышний, ты не «зонтик, что открывается, только когда начинается дождь», и все же, все же... О! Избавь от знания никчемности, затерянности моего тела, моего духа, моего движения и моего ступора, моего восторга и моей ненависти, всего меня, изъеденного отчаянием пустоты. Избавь!

Я – часть Тебя. Уже я понял – я не весь в жажде грудей, бедер, в жажде влаги, не весь в зависти и высокомерии. Что-то есть еще, чему не нахожу названия.

О, Всевышний! Ты сотворил и увидел. Дай же мне сотворить, и чтоб, сотворив, я сказал – как хорошо, то, что я сделал. Слышу только удары. А Ты слышишь?

Дап-да-бу...

О, Всемилостивый!

И что ж Твой мир, что Ты сотворил? Может быть, Ты Бог отчаяния, или стал им после того как сотворил? А может

быть, Ты любишь и жалеешь меня, а потому не даешь излиться, и потому, не становлюсь я и вовсе окончательно, как Ты – отчаянием.

О! Все же услышь мой голос из бесконечно-великого вопля.

Дап-да-бу...

Молчал Всевышний.

Дап-да-бу, дап...

Айсет возвращалась от колонки с полными ведрами. Теперь уже много семей оставили горы, а семью Айсет, он помнит, с поры, когда мог видеть, как поселились они тогда рядом. Вечерами она первая прибежала смотреть, как чудо-мальчик проясняет небо и обнажает кавказские вершины. И она, Айсет, плакала от радости и умиления. Сейчас старается пройти тихо, старается не обнаружить себя, хотя, наверное, догадывается, что Латиф не может не слышать ее. Она в шаге. Рядом.

Латиф опустил руки – прекратились удары. Замер, вслушиваясь. Руки крепко сжимают барабан.

Айсет оступилась – плеснула в ведрах вода.

А вечером этого дня выдавали зарплату. Получил отец и его, Латифа, пенсию.

Латиф хотел разбить бубен, пнул его ногой, закричал, что уедет. «Дайте мне деньги, я поеду в горы, женюсь, найду другой бубен, и у меня будет музыка!» Он кричал яростно, отчаянно.

Пришла Айсет. Принесла телячью кожу. Она просила отца, чтобы тот уговорил Латифа сделать для нее бубен.

Латиф не успокоился, горечь не проходила, жгла грудь, но он замолчал. Где-то далекая-далекая Айсет.

Но она зовет его, просит...

Ее сыну, сыну Айсет, исполняется год, и бубен в подарок. Сын начнет бить в бубен и выбьет мелодию, и увидим горы, прояснится небо и проступят вершины. Латиф сможет. Он сделает. Руки Латифа помнят тревогу далеких первых ударов.

Бике закончила историю так:

– Брат вернулся в горы, живет в Хумаро-Юрте. Там и мой сын.

– Сын зрячий?

– Конечно. Почему ты спросил?

– А ты зачем мне про брата – барабанщика? Сокровенный смысл?

– Рассказала, как было. В горах он не был слепой, ослеп, когда стал жить в степи.

– Надеешься, прозрел, когда вернулся?

Бике молчала.

Автобус снижал скорость, подруливал к автостоянке с заправкой. На повороте водитель притормозил, чтоб пропустить стадо – коровы, овцы, козы – все вместе. Последней плелась лохматая серая собака, вдруг остановилась и уста-

вилась на автобус, остановились и коровы, вывернули головы, водитель посигналил, собака отскочила, коровы не двигались, безмятежно помахивая хвостами, продолжали устало жевать. Две девочки – пастушки догнали стадо, погнали его в сторону единственной длинной улицы на высоком берегу шумной и мутной речки. Автобус миновал перекресток, свернул в сторону речки и ткнулся в бордюр рядом с указателем «ст. Бахчи».

Вышли из автобуса.

Гера подошел к обрыву, подошла и Бике.

– Может и прозрел. Как нам быть теперь, Грек?

– Грека нет больше.

– А кто есть?

Гера пожал плечом, кивнул на крутой берег с другой стороны реки, там тесно жались мелкие земляные наделы.

– Смотри, какие лоскуты с подсолнухами и тыквами, удастся же вспахать такие клочки. Потом еще поливай, не ленись, до седьмого пота. А!

Со стоянки сигналил автобус – пора ехать.

– Ты зачем за мной поехал, не Грек?

– Проводить.

– Хорошо. До Черкесска, и возвращайся.

– Как скажешь.

– Может, ты хочешь увидеть моего сына?

Подходили к автобусу.

– Молчишь, Ге-ор-гий?

Протиснулись в автобус, заняли свои места.

– Так, что? Хочешь в Хумаро-Юрт?

– Посмотрел бы.

– Что ты хочешь увидеть?

– Родину твою. Фотографии. Как ты в первый класс пошла. Выпускной.

В конце улицы автобус догнал остаток стада – три коровы, теленок и коза; остальных разобрали по дворам, следом, помахивая хворостиной, шла девочка – черкешенка, может быть кабардинка. Она обернулась.

Гера успел рассмотреть – тонкая, высокая, без платка, с торчащими, смоляными косичками, с вытянутым лицом, нежным подбородком и невпопад, отрешенным темным взглядом. Автобус проехал мимо, она продолжала смотреть вслед. Гера в окно, выворачивая шею, смотрел на девочку, ему казалось, девочка смотрит именно на него.

Бике тронула Геру за руку.

– Кто палец отстрелил?

– Никто не отстрелил. Разборки с отцом.

– Отец отрубил твой палец?

– Нет, не отец. Я сам.

– Как это?

– Бике, а ты бы стала перевязывать меня, если б первая выстрелила?

– Нет. Да и стреляю я метко.

– А говорила, что любишь. Помнишь?

– Да? Разве?

– Если б тогда Келдышев узнал, он бы тебя не простил.

– Он бы и тебя не простил, Келдышев абрек был. Ухарь!

А ты красавчик. Не абрек. Камыш ты.

– Камыш, значит? А ты – Бук?

– Я – Бук, хоть ты и не Грек.

– Не понимаю.

– И не надо. Не поймешь.

– У вас так с мужчиной не разговаривают.

– Ты знаешь, да? Знаешь как у нас?

Долго молчали. Заговорил Гера:

– Бике, ты вернешься?

– Куда?

– На войну.

– Война везде. Зачем возвращаться.

И вдруг ухватила Геру за руку:

– Вон, смотри! – подалась по ходу автобуса, – смотри – Черкесск. И весь в огнях!

Ближе к полуночи заселились в гостиницу при автовокзале. До Хумаро-Юрта автобус отправлялся только утром, в 5.15.

Гера не спал. Вышагивал по тесной комнатке, курил в окно, не снимая одежды, падал на кровать. Поднялся, открыл кран над раковиной – пошла мутная вода. Спустился вниз, буфет работал, попил пива. Холодное, из холодильника. Вер-

нулся в номер.

А когда, к рассвету, задремал, в дверь тихо постучали.

– Входи, – зябко поежился, кожа покрылась пупырышками.

Вошла Бике:

– Проститься пришла.

Сказала и упала на Геру.

У нее все случилось быстро.

Плотно сжатые губы, ноздри вздрагивают, вздрагивают, замерли. Затылком в матрас, изгибаясь, грудью вверх, губы белеют, не звука, дышит ли... и уже – крик. На выдохе.

Крик, и обеими руками жестко толкает и сбрасывает его на пол.

– Икры, икры. Судорога. Светло. Судорога. Делай что-нибудь.

Гера вскочил с полу, стал мять и массировать икры.

– Не то, не то! – она подалась в сторону, вверх и взгляд остановился. От боли.

Он соскочил с кровати, схватил ее щиколотки и впился зубами в стопу...

Она издала тихий стон.

Он прокусил вторую.

Она выдохнула, дернула головой:

– Еще, еще, – задышала, широко округляя рот. – Вот, вот!

Хорошо! Хорошо! Молодец.

И тут же заехала ногой в плечо, Гера отлетел от кровати.

Она приподнялась, откинулась на спину:

– Все. Все.

И вдруг засмеялась:

– У тебя рот в крови. Смешной. Клоун Жора.

Гера улыбнулся:

– На автобус опоздала, на пятичасовой опоздала.

– Да, опоздала.

– Часто это у тебя с ногами?

– Нет. В последние три года не часто. Никогда. За три года – первый раз.

– В смысле?

– Принеси нарзану.

Потом пили нарзан, пиво, ели горячие пирожки с бараниной, потом он сбегал за коньяком, вечер наступил очень быстро.

На Хумаро-Юрт отходил последний автобус, под козырек автобусной станции заглянуло солнце. Слепило глаза, больно смотреть, завелся, заурчал мотор. Зашипела, раскрылась дверь.

Бике задержалась, поднимая ногу на ступеньку.

Проговорила внятно, выделяя каждое слово:

– Если будет дитё, оставлю. Джигит будет. Ухарь!

– Не будет.

– Это почему?

– Ваши постарались. У меня не может быть детей.

Эти пришли одно за другим.

Первое:

Папа, я на Кавказе. Опять в Мин Водах

И второе:

Брат, мама не приходит в сознание. В коме.

И вскоре еще одно, последнее.

Папа, я у бабушки. Бабушка умерла.

Сообщения пришли в день, когда отменили авиарейсы. И это еще не всё... Границы закрыли. Даже те закрыли, о которых, казалось, и позабыли. Маму похоронили без меня.

Утро. Сижу, свесив ноги с постели. Мама ставит у сепаратора ведро, сверху, едва не вываливаясь за края – шапка белой-белой пены. Кольшется. Ведро ловко вскидывается над белым чаном сепаратора, и, вот ведро уже пустое. Мама сжимает темно-синюю, из дерева, рукоятку, и, подавшись плечом, начинает крутить ручку. Сепаратор гудит полной металлической мелодией, не заглушая звука бойкой струи отвешенного молока и тихой струйки тягучих сливок.

Подрагивая и пытаясь удержаться за стенки круглого чана расходящимися кругами, цельное молоко убывает. Заметно как убывает. Хочется поскорее увидеть, как молочные волны

закружат, завьются, устремляясь вниз и обнажая дыру на дне чана.

Мама подает стакан с теплыми сливками и иногда (очень-очень редко, может быть один только раз) заметив капельки в уголках рта, которые, просочившись, ползут на подбородок, снимает их твердыми шершавыми пальцами.

Я пил сливки и начинался день, и близко, рядом были слезы.

Мама брала меня за руку.

Мама берет за руку!

Берет за руку!

Сердечко прыгает, прыгает, сейчас выскочит.

А слезы где-то там, там, там.

Брала за руку и отводила к бабке Наташе (это не та, что назвала меня Джимом, другая), а сама потом шла к контроле и оттуда всех везли на зерноток. Уборка – главная забота совхоза, все на уборку!

Заходили в хату. Мама выпускала мою руку.

Рйка, длинноногая и тощая девочка, дочка бабушки, значит моя тетка, сначала показывала мне язык, потом опускала как-то книзу все лицо, изображая горькое мое горе. Я...

Слезы подступали, не давали дышать... сейчас мама шагнет, переступит высокий порог, со скрипом двинется и гулко стукнет дверь, и мамы не станет видно. И мамы не станет. И начнется новая, с болью во всем теле, жизнь.

У самого порога мама оборачивается, поправляет крас-

ный в темную клетку платок. Улыбается.

Я срываюсь с места, бегу к двери, к маме.

– Мама, мамочка, поцелуй меня!

Слезы заливают лицо, хата огромная и колышется.

Мама наклоняется, целует меня, улыбается, гладит по голове, вытирает слезы, а иногда (очень редко, может один раз) берет на руки, прижимается щекой к моей голове и плачет. Вместе со мной. Потом все-таки относит меня к окну и торопливо идет к двери.

– Мама, мамочка, – растопырив руки, бегу за ней, – мама, мамочка, поцелуй меня, поцелуй меня еще!

– У-у-у! Поцелуистый какой! Ты глянь! – это бабка подает голос. – Хворостинки ему по жопе! Ишь ты поцелуй!

Потом – это случилось только однажды – она оттаскивает меня от мамы и шлепает несколько раз...

Темнеет в глазах от слез, и я уже не вижу, как уходит мама.

Потом слышу Райкин писк – «хи-хи-хи», и толчки в бок. Исподтишка. Исподтишка и к случаю.

Больно, горько.

Но...

Неожиданно все как-то проясняется.

Приходит запах горячей, только со сковороды, пресной пышки, следом аромат простокваши, смешанный с запахом холодного земляного подвала; а когда звонко втягивая со дна большой белой кружки последние студеные кусочки, когда громко и длинно в последний раз всхлипываю – слез больше

нет. Горе не вечно.

В тот день бабка Наташа с Райкой пекли хлеб. Бледным тугим бугром взошло тесто в корыте, и бабка кликнула Райку, чтоб та смазала жиром жаровни. Потом их уже с тестом нужно будет таскать из сеней во двор в жаркую от сгоревших кизяков печь. Молча, хлопотали они вокруг корыта. Райка покраснелась, руки мелькают туда-сюда, туда-сюда, и – выстраиваются в ряд смазанные жаровни. Губы закусила мелкими своими зубами.

Я тихо подошел к двери и осторожно, не скрипнув, медленно прикрыл ее. Выдохнул. И защелкнул щеколду между дверью и рамой. Присел на камне у порога.

Солнце поднималось, припекало, нет еще вязкой пыли, она далеко, в августе, а сейчас воздух и горячий, и прозрачный, и не скрывает далекие, за холмами пики заснеженных вершин. Колышутся... горы, холмы в ярко-сиреневых дугах и огненно-желтых попискивающих точечках – у ног пригрелись крошечные цыплята. Я неведомо как засыпаю. Голову клонит к земле, и, едва не свалившись с камня, вздрагиваю всем телом, открываю глаза.

Цыплята забились в теник камня, курица запрыгнула на приступку у печи и пытается грести, начинающие остывать здесь, угольки.

Дверь в сени закрыта.

Защелкнута.

Поднимаюсь с камня. За дверью тихо. Через окошечко в

сенях видно – тесто выползло из заполненных жаровен, выползло из корыта и тянется к полу. В глубине хаты, за распахнутой дверью у окна на высокой кровати с блестящими шарами на груди подушек полулежит бабушка. И вижу неподвижный Райкин затылок.

Бабушка умирала. Мотала головой и то бугрился, то опал ее живот. Страшным был неподвижный затылок Райки.

Закричала, наконец, бабушка, вырвалось:

– Господи, Боже, отведи...

Потом бормотание, и потом:

– Ух, больно. Откуда ж столько? Больно!

Жизнь напомнила о себе в последний раз и ушла от бабушки. Уходя, оставила улыбку. Тихим и покойным сделалось ее лицо, словно в самой последней боли было явлено ей что-то чистое и ясное.

Закричала Райка и метнулась к двери, я увидел круглые, пустые, без слез ее глаза.

А дверь-то заперта.

Райка заколотила, заколотила.

Закричала, закричала.

Я отпрянул от окошечка и страх понес меня на пустую прожаренную солнцем улицу.

Никогда уже больше не кричал я, захлебываясь горькими слезами:

– Мама, мамочка, поцелуй меня еще.

—